Элеонора Гильм
Обмануть судьбу
Не зря она стала грешницей

Я – женщина. Любовно-исторический роман

Элеонора Гильм

Обмануть судьбу

«Эксмо»
2020

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Гильм Э.

Обмануть судьбу / Э. Гильм — «Эксмо», 2020 — (Я – женщина. Любовно-исторический роман)

ISBN 978-5-04-104905-8

Аксинья выросла в небольшой сибирской деревне, недалеко от Соли Камской. Ее судьба была предопределена с детства, но в глубине души ей хотелось большой любви, как в сказках про Василису и Ивана-царевича. И эта любовь пришла – всепоглощающая и страстная, нарушающая суровые запреты отца и способная свернуть горы. Но принесет ли она счастье? Пришлый кузнец, которого полюбила Аксинья, человек с двойным дном, с непростым прошлым и нутром зверя, который может сломать жизнь и себе и другим…

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-104905-8

© Гильм Э., 2020
© Эксмо, 2020

Содержание

Посвящение 6
Пролог 7
Глава 1 8
1. Вороновы 8
2. Детство 14
3. Девичество 19
4. Секреты 34
5. Медуница 43
Конец ознакомительного фрагмента. 52

Элеонора Гильм
Обмануть судьбу

© Гильм Э., 2020
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

Посвящение

Маме – за вдохновение, правки, ценные советы, без которых подобная дерзость была бы невозможна.

Андрею – за твердую веру в мою творческую звезду.

Папе – за звучный псевдоним и глубокий интерес к истории русской деревни.

Моему редактору, Виталине Смирновой, – за помощь и поддержку; за то, что разглядела рукопись в веренице писем

Пролог

Он хлестал по склонившейся узкой спине, которую так любил гладить. Смотрел на покорный затылок, на выбившиеся волосы и становился еще беспощаднее. После первого удара жертва закричала. От боли перехватило дыхание. Женщина упала на колени и только подвывала, поняв, что муж быстро не успокоится.

«Забьет меня до смерти… и ладно», – подумала она, и спасительная темнота накрыла с головой. Сарафан превратился в лохмотья, не прикрывавшие располосованную спину. Мучитель жалел жертву, удары были совсем слабыми – для острастки. Не хотел он ее убивать – лишь наказывал за измену.

Когда она обмякла на полу, мужчина плеснул в лицо воды. Женщина заморгала, не понимая, что происходит. В один миг нахлынула резкая боль, она застонала.

– Рано еще стонешь, – усмехнулся муж. Свист плети, стоны и крики разбудили в нем греховное, паскудное желание. – Это еще не все наказание. Как хорошая жена, должна ты ублажить мужа, которого долго дома не было. Одна беда, голубушка! Другого ты тешила, погано мне после него с тобой… Что делать будем?

– Иди к другой, – пробормотала запекшимися губами.

– Ишь чего удумала, не нужна мне другая, у меня жена есть, венчанная. Я знаю другой выход. – Сорвав остатки сарафана, он резким движениям поставил ее на колени, стащил свои портки и пронзил, будто копьем. Безжалостно, резко, грубо он овладевал той, которая была его женой, мечтала стать матерью его детей. Испытывал особое удовольствие от ее унижения, от зверства своего. Громкий победный крик исторгло его горло, а жертва и стонать уже не могла, просто рыдала тихо, беззвучно.

– Оденься! И обмой своего мужа! – приказал мучитель.

Еле выпрямившись, она потащила лохань. Смочив ветошь, обтирала когда-то любимое тело и не чувствовала ничего, кроме ненависти. Скоро уставший муж захрапел на лавке.

Жена ополоснула истерзанную плоть, исхитрилась помазать спину травяным настоем. Встала у лавки и долго стояла, не отрывая глаз от мужа. Она взяла с поставца большой тяжелый нож, которым разделывала мясо. Нож заманчиво оттянул руку. Женщина смотрела отражавшее свет лучины лезвие, гладила дорогую костяную рукоять, будто желанного любовника.

Глава 1
Конец безмятежности

1. Вороновы

Истошный ор прокатился по единственной улице деревушки Еловой и пошел гулять над Усолкой, уставшей от ледяных оков за долгую зиму.

– Что за галдеж? Совсем бабы сдурели. – Немолодой, но крепкий мужик возился в мужском углу избы.

– Василий, я схожу, любопытно, – отозвалась черноволосая женщина.

– Иди, Анна, коли заняться нечем.

– Оксюшка, ты со мной?

Наспех замотав девчушку в слишком просторный для нее, шестилетки, тулуп, накинув на свое пышногрудое тело теплую одежду, женщина вышла из избы.

Лед отливал богатой синевой. Ветер шаловливо играл с ветками ивы, перебирал концы старого платка, шевелил выбившиеся пряди Оксюши, холодил маленький нос.

Несколько разгоряченных женщин сгрудились на одном пятачке и кричали, перебивая друг друга. Анна с дочерью подошли поближе. Деревенская знахарка, Гречанка, расхристанная, полураздетая, стояла, гордо подняв седую голову. Из фигурно вырезанных ноздрей породистого носа стекала тонкой струйкой кровь. Знахарка и не пыталась утереться, позволяя крови настойчиво капать на неопрятно потемневший снег. Оксюша смотрела на бурые пятна и от страха кусала розовый палец.

Худая, востроносая Гречанка появилась в деревне давно. Даже спустя два десятилетия еловские считали знахарку пришлой, чужой. Ее христианское имя Глафира в деревне не прижилось. Звали Ведьмой, Гречанкой. Бабы недолюбливали знахарку, но часто бегали за снадобьями от худого кашля, от поноса, от боли в спине. Поговаривали, что может ведьма избавить от паскудного бремени, наслать любовную сухоту, исцелить смертельно больного, выторговав жизнь его у нечистого.

Самая громкоголосая, молодая женщина, носившая старое, почти забытое имя Еннафа, с ревом наступала на знахарку. Молодуха сжимала крупные костлявые кулаки, жаждала крови. Несколько дней назад она родила недоношенную девочку. Дите оказалось слишком слабым для бренного мира, и Бог прибрал его к себе. Не желая смиряться с потерей первенца, Еннафа винила во всем проклятую ведьму.

Бабы теснили Глафиру к Усолке. В руках Маланьи, соседки Анны, появилась туго сплетённая веревка. По всему видно, еловчанки решили проверить, знается ли Глафира с нечистой силой. Всем ведомо, если ведьму связать, она всплывет. Без помощи ее черти не оставят.

Гречанка отступала, голые посиневшие ноги проваливались в рыхлый снег. Она почти падала. Бабы, как собаки на охоте, гнали свою добычу. На черных сиротливых ветках собрались вороны и оглушительно орали, будто подзуживали лиходеек, подталкивали их к дурному делу.

Аксинья задрала голову:

– Они утопить хотят? Жалко…

Возле реки скопилась порядочная для деревушки толпа. Кто-то крикнул:

– Не утонет Гречанка. Ведьма ведь!

Мать наклонилась, отодвинула с дочкиного уха косынку, выпустила на стылый воздух горячие слова:

– А что мы сделать-то можем? Они и нас утопят. Страшны бабы во гневе, прости Господи!

Сильная рука Еннафы схватила седые растрепанные волосы.

Только окунула она в холодную воду Гречанку, раздался гул:

– Топи ее, окаянную. Так ей и надо!

– Гречанка, иди в преисподнюю!

– Веревкой-то связывайте! Неумехи!

Уверенный голос разрезал толпу:

– Бабы, вы бы отпустили знахарку. Ничего плохого деревенским она не сделала.

Анна встрепенулась.

Кто еще не побоялся бы дурного женского племени? Жаркой гордостью обдало ее с ног до головы. Среднего роста, кряжистый, Василий был из тех мужиков, на которых держится земля русская. Всегда болел за правду и шел супротив толпы по настойчивому зову сердца.

– Прав он, непотребство затеяли. Еннафа, быстро домой, – худой, сгорбленный старик остановился рядом с Василием. Его повелению подчинились, казалось, даже вороны, спешно взметнувшиеся с деревьев и полетевшие на другой берег.

Рука молодки застыла над берегом. Посиневшая знахарка ловила ртом воздух. Со свекром спорить было бесполезно, Еннафе пришлось выпустить из рук добычу.

Гермоген был тих, по-стариковски нетороплив, но слово его не только в семье – во всей Еловой было непререкаемо. Не меньше двадцати лет он мирил ссорившихся, решал, за кем останутся лучшие заливные луга, следил за сбором посошного[1], церковной десятины, ямской и десятка других повинностей, возложенных властью на простого человека.

Народ быстро разбежался. Потеха закончилась. Гречанка выжала волосы, быстро покрывшиеся льдистой коркой. Взгляд ее остановился на Анне и Оксюше, которые молча стояли на берегу.

– Вот так-то, бабоньки. Сердце человеческое черствее прошлогоднего хлеба, – сгорбившись, Гречанка пошла в свою избушку, кособоко примостившуюся на окраине деревушки. Казалось, ее узко вылепленные ступни не замечали холода.

Вслед Анна прошептала, не для дочки, для себя:

– Не со зла они…

Дома Оксюша разревелась. Огромные слезы катились из темных, чуть выпуклых глаз.

– Дочка, ты что это сырость развела? – отец склонился над крохой, забавной в своем детском горе.

Анна с Василием долго утешали дочку, а она и сама толком рассказать не могла, что так расстроило ее. То ли бабы со страшными, перекошенными лицами, то ли судьба старой знахарки, то ли дыхание смерти. В этот день девочка впервые ощутила, как страшен может быть мир, как ненависть делает пустыми глаза, как крючит пальцы, превращая их в смертоносные когти.

* * *

Аксинье повезло куда больше, чем многим ее ровесницам. Последыш в семье, она веревки вила из своих родителей. Появилась Оксюша у сорокалетней матери, которая детей заводить боле не намеревалась. Но природу не перехитришь. Дарья, Петухова жена, подначивала Анну:

– Настругал тебе Васька дите на старости лет. Ты стругалку-то его утихомирь, а то увлечется мужик. Еще парочку сварганит нахлебников.

Раздобревшей Анне помогал десятилетний Федор. Лишь он остался в избе из всего обширного выводка Вороновых. Стройный, гибкий, с каштановыми кудрями, ангельскими

[1] *Посошное* (обложение) – поземельный налог в России в XIII–XVII веках.

чертами лица он слыл бы на селе первым красавцем, но… С самого детства дьявольская болезнь не давала Федьке покоя, падучая скручивала его, кидала наземь. На губах выступала пена, и рассудок надолго покидал горемычного. Сколько слез пролила мать над ним – не счесть.

Ничего мальцу не помогало, лет до десяти чуть не каждую седмицу случался приступ. Родители не знали: то ли молить Бога о выздоровлении, то ли просить, чтобы он ниспослал Феде милосердную смерть… Из-за приступов голова Федина работала иначе, чем у других, говорил он медленно, не мог додуматься порой до самых очевидных вещей. Сторонился чужих людей, все больше молчал, зато помогал отцу в гончарном деле, работал в дворе, ухаживал за скотиной и огородом – трудился за троих.

Гончарный промысел принес семье Вороновых небольшие накопления: уплатив подати, церковную десятину, тратя деньги на сырье и попутные надобности, они жили безбедно. Срубили новую избу-пятистенку с просторной светелкой. По обычаю родных мест Василий пристроил к глиняному телу печки деревянный короб – и плотный дым выходил из избы. Соседи долго смеялись над недотепой с Казани. В холодных землях расточительством было выпускать тепло на волю. Все топили печи по-черному. Русский человек привык вдыхать сажу, пачкать порты в копоти. За седмицу белая рубаха становилась грязно-серой. Год-другой, смешки поутихли, и по Еловой пошел обычай печи ставить, «как у Васьки-Ворона».

К избе с правого бока прилепился сарай с гончарным кругом, малой печью и товарами для продажи. В четырех шагах хлев, гумно, куть с запасами. Лодка-долбленка, два жеребца, корова с теленком, свиньи да птица – вот все их справное хозяйство.

* * *

Оксюша, подвижная, смышленая, с огоньком в очах, сновала по двору и избе, не столько помогая, сколько отвлекая взрослых своими вопросами. «А почему солнце восходит на востоке? А почему цапли осенью улетают?» Темноглазая, с каштановыми волосами и чуть раскосыми живыми, озорными глазами, она была похожа на отца своего, Василия, в котором текла кровь инородцев. Румяные щечки, ладная фигурка и мелодичный голос достались от матери Анны.

Никто из старших детей Вороновых, да и всех детишек и помыслить не мог, чтобы строгие родители ласкали, целовали, баловали. Строгий окрик, молитвы, розги на заднице – так десятилетиями воспитывались дети в суровом краю.

Аксинья будто притягивала любовь и заботу не только родичей, но и соседок, подруг. Девчушка заливисто смеялась в сильных, хотя и немолодых руках отца, доверчиво прижималась к матери и забавлялась над Федей, для которого стала и радостью, и докукой. Аксинья любила спрятать его одежонку и веселилась, наблюдая за судорожными поисками.

– Федя, а, Федя, а посчитай, сколько кошек у нас в деревне!

Он послушно шел считать и был остановлен кем-то из родителей. Аксинье выговаривали за каверзы, а Федя смешно злился, морщил нос.

– Отгадай загадку: белая морковка зимой растет.

– Морковка зимой… Как так может быть? – неповоротливый ум парня не справлялся с такими задачками. Он чесал затылок, убегал в мастерскую к молчаливым кринкам и горшкам. А девчушка вслед кричала:

– Сосулька это, братец, как не догадаться?

* * *

Поздней осенью Аксинья по своему обыкновению крутилась в мастерской. Маленькая, юркая, она носилась со свистулькой, отцовским подарком. Федор, с кряхтением тащивший

тюк с глиной, запнулся и уронил свою тяжелую ношу на ногу. Оксюша с плачем и криками побежала в избу, а Федор тихо стонал на земляном полу сарая.

Нога подернулась синевой, парень закусывал губы, видно было, что мочи терпеть нет. До вечера Гречанка колдовала над ним. Нога, смазанная студенистым отваром, была заточена в лубок. Глафира шептала неведомые заговоры тихо, безучастно, прикрыв морщинистыми веками совиные глаза. Дрожащее пламя лучины освещало покрывшееся испариной лицо Федора, трепетало на смуглых руках Глафиры. И его пляшущие отблески бились в такт напевному шепоту знахарки.

– Помоги… Помоги ты ему, – бормотала Анна. И не было в ее душе страха перед неведомым, перед чародейством, что могло помочь ее сыну.

Кряхтя и держась за поясницу, Глафира разогнулась:

– Все сделала я. Он молодой… Бог даст, еще бегать будет.

– Спасибо тебе, Глафира. В пояс кланяюсь.

– Ишь, спасибо. А давеча смотрела, буду я тонуть или нет. Да ты не спорь со старухой. Все понимаю.

Знахарка охотно взяла мешочек с весело бренчащими медяками и отказалась от густого варева, томившегося в печке.

Только к вечеру Анна спохватилась: младшей дочки нет. Ни на печке, ни в кути[2], ни у постели родного брата.

– Вася, а Оксюша-то где?

– И на печи нет? – лежанка на печке, теплая и уютная, была любимым местом баловницы.

– Нигде ее нет, горюшко. Как просмотрела-то!

Долго еще огоньки лучин освещали двор Вороновых.

– А-а-а-аксинья, – раздавался протяжный женский крик.

– Оксюша! Что за пакостная девка! – вторил мужской голос.

Крошечную фигурку встревоженные родители обнаружили в самом темном углу мастерской. Девочка свернулась клубочком и замерла, как испуганный мышонок, прислонившись к еле теплой печи. Остывшая мастерская была не лучшим приютом для ребенка.

Отец принес всхлипывающую во сне Оксюшу в избу на руках. На следующее утро девочка заполыхала жаром. Анна крутилась как белка в колесе: сын не вставал с кровати, а теперь и дочка занемогла. Поглядев на маету жены, Василий принес Оксюшу к знахарке.

– Вылечи, Глафира, кровинушку мою, – поклонился в пояс.

– Иди. Не тревожься.

Весь сечень[3] девчушка прожила у ведуньи, исправно принимала все отвары, дышала целебным паром, мазала грудь барсучьим жиром, играла с ее черным здоровенным котом и быстро поняла, что пришлась по сердцу Глафире.

– Бабушка, расскажи мне про Гевеста[4]. Сказку…

Вечерами Глафира, сложив на коленях узловатые руки, раскидывала перед завороженной девчушкой яркие картины. Бесчисленные истории про славянских богов, лешего, берегинь, Перуна, Велеса. Знала она и множество греческих мифов, которые завораживали Аксинью своей красотой, замысловатостью и напевностью.

– Родился Гевест, сын Зевса и Геры, на Олимпе слабым и хромым ребенком. В гневе великая Гера сбросила хилого мальчика на землю. Сжалились над ним морские богини, унесли его с собой в воды седого Океана. Вырос Гевест хромым, но сильным, с могучими руками. Стал он искуснейшим кузнецом, ковал украшения из золота и серебра.

---

[2] *Куть* – задний женский угол в избе, место перед печкой.

[3] *Сечень* – январь.

[4] *Гевест* – Гефест (имя бога искажено).

– А подковы для лошадей ковал? А плуги?

– Ковал, Аксиньюшка. И получались они у него крепкие да красивые, с коваными завитками, на зависть всем остальным мастерам. Боялись люди его силы.

– А почему так мать с Гевестом поступила? Злая она.

– Немилосердной была Гера, да и в те давние времена люди были нрава совсем другого, не смиренного, буйного, дикого. И боги тоже были жестокими к людям, друг к другу.

– А сейчас люди добрее?

– Стараются быть добрее, вера христианская учит милосердию. Но, – вздохнула Глафира, – не у всех получается. – Вспомнила, как давеча Еннафа утопить хотела, как мальчишки бросали в нее камнями. Вот и вся доброта. – Пора нам спать, золотце.

– Спой мне песенку.

– Ой бай да побай,
Поди, бука, на сарай,
Бука, в избу не ходи,
Наше дитя не буди!

– Буууука, – бормотала девчушка.

Тихо потрескивали поленья в печке, за окном вилась вьюга, кот сонно скрутился в клубочек и закрыл нос лапкой.

– Мороз крепчать будет, – поежилась старуха.

Она долго смотрела на спящую Аксинью, любовалась ее длинными ресницами, слушала сладкое дыхание и тосковала о том, чего никогда у нее не будет.

Федина нога зажила быстро, уже через две недели он бодро, опираясь на сучковатую палку, хромал по двору. Возвратившись от Гречанки, Оксюша перестала дразнить его. Прижималась к брату и затихала надолго, гладила его по непокорным кудрям и шептала: «Прости ты меня. Феденька самый хороший, Феденька мой милый». Брат жмурился, как довольный кот, млел под маленькими Аксиньиными ручками. И не было на свете ничего, чего бы он не сделал для сестры своей.

* * *

Деревня Еловая вольготно раскинула семнадцать дворов на берегу Усолки. Лишь семь верст отделяли ее от Соли Камской. Небольшая речка давала деревне вдоволь воды, в ее прохладных глубинах водилось множество рыбы – и хариус, и сазан, и щука, и сорный окунь, и даже царская рыба-осетр.

Деревню семь десятков лет назад основал Николка Петух, работящий и неразговорчивый помор. Почти половина дворов и сейчас принадлежала потомкам крепкой крестьянской семьи. Не мудрствуя, деревню стали звать по тому дереву, что в изобилии росло в окрестностях.

В Солекамском уезде крестьяне все были государевы, черносошные. Еловские жили тем, что вырастить могли на земельных десятинах, простиравшихся широкой полосой от реки до леса. Поля щедро давали урожай капусты, репы, ржи, ячменя, но бедно родили сладкое пшеничное зерно. Порой земля кормила житом вдоволь, а иное лето пашенные люди туго затягивали пояса, и матери в слезах успокаивали надрывающихся от плача детей с голодными глазами. Работа на государевой пашне, ямская повинность, десятина церковная… Не разжиреешь.

Два крестьянина в Еловой хозяйство вели из рук вон плохо. Ермолка Овечий хвост много пил и не знал меры в пьяных безумствах. Макарка, ленивый, скудоумный, сеял последним, рожь убирал, когда колосья осыпались, но хвастался перед всяким, готовым его слушать. Худых

хозяев презирали в деревне, считали людьми ленивыми или пьющими: окрест Еловой столько земель, корчуй лес, распахивай, сажай, работай – и голодным не будешь.

Четверо еловских мужиков своими умелыми руками и смышленой головой заслужили счастье не зависеть от своевольной матери-природы. Каждый из них хорош был в своем ремесле, оно его кормило и несло почет и уважение односельчан.

Был в деревне свой бондарь, прижимистый мужик Яков Петухов, приумноживший доброе приданое жены. Могла похвастать Еловая и кузнечных дел мастером, веселый и безалаберный Пров и его толстушка жена всегда отличались хлебосольностью. Угрюмый бортник Иван, потомок того же Петуха, казалось, больше любил пчел, чем свою надоедливую Маланью. Василий Воронов три десятка лет назад осел в Еловой. Кувшины, чашки, блюда с вороном на донце были в каждой еловской избе.

Ремесленники продавали товар свой в Соли Камской на базаре, а чаще сдавали местным купцам по сходной цене и не бедствовали. Ремесленные люди в деревне держались несколько особняком, им завидовали, порой просили о помощи…

Были ссоры-ругань, куда без них, но жила Еловая дружно и крепко, без мордобитья и пьяных свар. За пару десятков лет самым серьезным делом, что довелось решать Гермогену умным словом и громким окриком, – смертоубийство, что чуть не сотворено было его невесткой Еннафой на берегу Усолки.

2. Детство

Аксинья, младшая баловница, каталась как сыр в масле. Лет с шести стала она проситься с отцом в город на рынок, и отказать ей не было никакой возможности – поднимался рев на весь дом. Петушки на палочках, бусы, ленты, отрезы ткани выпрашивались взрослеющей Аксиньей у отца, и возразить любимой дочурке он не мог. Федька всегда ездил вместе с отцом – сильный, он осторожно снимал с телеги посуду, перетаскивал коробы. Испуганно косился на гомонящую толпу, старался побыстрее залезть в телегу и зарыться в солому до отъезда в родную деревню.

Аксинья рада-радешенька таким поездкам. Румяная, нарядная, в беличьей шубке, крытой синей понёвой[5], расшитой речным жемчугом и перламутром – не зря зимними вечерами выкладывали бусинами цветы и птиц заморских. На каштановых волосах шапочка, отороченная беличьим мехом, теплые рукавицы, ладные сапожки на маленьких ножках.

Соль Камская с широкими улицами, быстро, будто по прихоти кудесника застраивавшимися крепкими домами, была местом, где покупали и продавали не только зерно, меха, утварь, телеги, животину, но и заморские ткани, специи, чудные дамасские клинки, персидские ковры. Все, что душе угодно!

Более столетия назад, при московском князе Василии Темном посадские люди Калиниковы организовали соляной промысел на речке Усолке, впадающей в прозрачную Каму. Лет через пятьдесят на месте встречи двух рек вырос небольшой поселок. Соль принесла добытчикам деньги и обеспеченное будущее. Поселение стояло на пути из Москвы в сибирские земли, у подножия Урала. Через полсотни лет Соль Камская могла похвастаться деревянными укреплениями, церковью, посадником. Город не раз уничтожался пожарами, разорялся лихими тюменцами, ногайцами, но отстраивался каждый раз краше прежнего.

Центр Усольского уезда, Соль Камская славилась своим богатством, невиданным для края диких лесов: шестнадцать соляных варниц, двадцать шесть торговых лавок, лари для хранения рассола… Базары были полны народа с утра и до позднего вечера. А амбаров сколько в городе, высоких, крепкого дерева, хранящих запасы зерна, мешки с зерном для далеких сибирских острогов и деревенек!

Покончив с делами, отец с дочкой ходили по городу, заглядывали в лавки. Девочка глазела на чудные иконы, заморские товары и ткани, россыпи драгоценных камней, оружие.

– Покупай блюда бухарские!

– Шелк, ласковый, как девичьи руки.

– Пряности с далекой Индеи! Душистые, острые, сладкие! На любой вкус!

Торговая площадь, центральные улицы города были заполнены яркой, многоликой толпой. Можно было встретить в Соли Камской крестьян, иноков с Пыскорского монастыря, причудливо одетых зырян, тюменцев, татар, и казаков, и детей боярских, и блаженных, и уличных торговцев.

– А пошли сходим на солеварни, – предложил отец.

– Айда, батя, – подпрыгнула Оксюша.

С интересом следила она за солеваром, зачерпывающим воду деревянной бадьей, привязанной к журавлю. Вода по желобам стекала на небольшую сковороду – цырен – над печью в варнице. Длиннорукий поджарый мужик издалека замахал Василию.

– Здорово. Как дело идет?

– Да не жалуемся. В сутки 60–70 пудов соли вываривaем. Сам, брат, считай, деньги хорошие. Хочешь, кроха, поближе посмотреть?

---

[5] *Понёва* – шерстяная ткань; также сшитая из нее одежда, представлявшая собой кусок материи, обернутый вокруг бедер, распашную юбку.

Аксинья долго смотрела на шипящий на цырене рассол, постепенно превращающийся в крупицы соли.

Десятки рассолоподъемных башен высились по берегу Усолки, защищая город, словно высокие сторожевые. Они и кормилицы города – чем больше добыто соли, тем богаче город. Соль Камская даже жила по своему соляному календарю. Заканчивался он паводком весенним, когда вся работа на варницах замирала. Соль ждала своего часа в амбарах, а как только реки скидывали панцирь, белое богатство грузилось на огромные деревянные ладьи. Плоскодонные посудины по весенней воде доходили по Усолке аж до торговой площади.

Прошлой весной Оксюша, открыв рот, смотрела, как по сходням сновали соленосы, сгибаясь от тяжести, как выстраивались вереницей баржи, уже груженные; осевшие уходили, освобождая место следующим. Соль-пермячку знали уже по всей Московии и далеко за ее пределами, в английских, немецких землях, иных басурманских землях.

Дядька схватил заскорузлыми пальцами Оскюшину косичку, дернул. Совсем не больно.

– Пойдешь замуж за меня, будешь заменять нас с братом на моей варнице?

Девчушка внимательно посмотрела на солевара. Старый для нее. Она помотала головой, щеки раскраснелись. Солевар и отец загоготали в полный голос, а Аксинья обиженно отвернулась.

– Не хочешь? Зря! Богатства бы нажили!

– Не смущай дочку, пермяк-солено-ухо! Другого мы ей жениха найдем, помоложе! И не с красными ушами.

В уголках глаз Василия расходятся, как паучки, веселые морщинки. Аксинье радостно от того, что отец смеется, от того, что яркое зимнее солнце переливается на крупинках соли, на белом снегу и делает Соль Камскую нарядной.

Свято-Троицкий собор, возведенный на холме, горделивым лебедем парил над округой. Здесь служили молебны, читали царские указы, отсюда начинался крестный ход. Аксинья каждый раз заново переживала восторг умиротворения, вдыхала запах ладана, молилась Николаю Чудотворцу.

Когда-то он спас город от беды, и теперь неугасимая свеча перед ликом указывала, что солекамцы помнят и чтят святого. Богатый киот с черненым серебром. Тонкое лицо, мудрые, вдаль глядящие очи… Не иссякает поток верующих, кладущих земные поклоны, молящие об исцелении, помощи в делах, заступничестве.

Оксюша крестилась, шептала слова молитвы:

– Николенька, сделай так, чтобы родители были живы-здоровы, чтобы брат Феденька исцелился от болезни своей падучей… Чтобы корова принесла маленького теленочка…

Природная нетерпеливость скоро брала верх, и она принималась разглядывать пришедших помолиться в главном храме города.

Вот дородная баба, наверно, купчиха, за руку тянет щекастого сына. Вон оборванный, босой, в рубище кладет поклоны перед ликом Николая Чудотворца. У самого входа стайка молодых девчушек, бедно одетых, крестится и успевает украдкой улыбнуться друг другу. Оксюша им шлет улыбку, а те в ответ лишь перемигиваются, отворачиваются. Круглолицый узкоглазый тюменец молится, да как-то по-своему творит крест. Все это было любопытно девчушке, она дотошно выспрашивала у отца о городе, о людях, в нем жившем. Не раз Василий восклицал:

– Мужиком бы родилась – глядишь, делом каким занялась прибыльным. Но бабе одна дорога – замуж, и ум особый ей не нужен, так что ты, девка, в другое зри – как женой хорошей стать!

* * *

Аксинья крепко сдружилась с соседкой Ульяной. Они поверяли друг другу свои детские тайны, делились лентами-бусами, ходили на речку, а долгими зимними вечерами вместе шили тряпичные куклы, трепали лен и пели песни. Мать Ульянки при рождении померла, отец пропадал на охотничьем промысле. Стала она в избе Вороновых второй дочкой.

Анна привечала Ульянку: и лишние рабочие руки пригодятся, и вечера коротать веселее. Сызмальства девчонка пела затейливо, выводила сладкозвучные рулады. Да так, что заслушаешься, забудешь о деле и весь в слух обратишься. И сама как солнышко: рыжая, в веснушках, круглая, озорная, звонкоголосая. «Наш Рыжик» звали ее Вороновы.

Год рождения Аксиньки и Ульянки, 7092 от сотворения мира[6], стал для Руси знаменательным – преставился Иоанн Грозный, которого боялись и уважали. Именно государь повелел строить остроги с посадами к востоку от Великого Устюга, именно государевы стрельцы пресекали походы лихих кочевых людишек на русские села. И поход на Сибирское Ханство атамана Ермака, и приведение под руку государеву местных инородцев – все это было во благо земли русской, для присоединения сибирских необъятных территорий. И через Соль Камскую, и через Орел – главную слободу Строгановых, и через Верхнечусовой городок шли отряды казацкие покорять сибирские земли. Дыхание дикого края чувствовалось и в Предуралье.

После великого царя остался сын Федор, болезненный и слабый умом. До Соли Каменной доходили слухи: не Федор правит, а зять его, Бориска Годунов, хитроумный и алчный боярин. Простому народу мало дела было до интриг у трона.

– Текла бы жизнь как заведено, сыты все были и обогреты – а кто уж там правит, не нашего ума дело, – судачили мужики.

А в семье Вороновых смеялись втихомолку:

– Государь Федя слаб на голову, и наш Федя такой же скудоумный.

За такие речи, услышь их староста деревенский, по голове бы не погладили, плетей могли прописать не один десяток. Но подобные слова до чужих ушей не долетали.

Годы правления Федора стали для Руси благодатными, невзирая на скудость его ума. Росли новые города и погосты, крепли ремесло и торговля, победоносная война со шведами прирастила новые территории. Простой народ славил нового царя – никаких докучливых новшеств не вводил, правил ровно да разумно, устраивал опричнины вроде своего отца, погубившей много честных людей.

Семья Вороновых жила в эти годы счастливо. Аксинья росла и превращалась в милую девчушку, Федя был большим подспорьем для родителей. Его приступы становились все реже, Глафира-травница помогла, шепнула, какие травы прогонят хворь.

Печалились родители, что старшие дети редко передавали весточки домой. Старший, названный Тимофеем, уж давно сгинул, сложил буйну головушку в казачьем походе. Средний Леонид стал в Архангельске большим человеком благодаря своему уму и хватке. Раз в год он передавал поклоны матери, отцу, брату и сестрам, сообщал, что в очередной раз народился сын иль дочка. Их у Леонида было столько, что родичи со счету сбились. Уж вторая жена плодила ему отпрысков, первая уморилась четвертыми родами. Василиса, старшая дочь, любви большой к родителям не питала, да и для них, что греха таить, была она как приемыш. Но с Великого Устюга она исправно слала приветы.

Грамоты на селе никто, кроме травницы Глафиры, не разумел, потому к ней с поклоном шли все деревенские, получив весточку. Она же Аксинью мало-мальски научила писать и читать.

---

[6] 7092 год от сотворения мира – 1584 год.

Запинающийся детский голосок читал строки, писанные умелым человеком под диктовку Василисы: о богатстве мужа ее, об очередном заморском ковре, бархате и серебряной посуде, купленных рачительной хозяйкой. Порой устюжская купчиха рассказывала родителям о дочурке Любаве, слабой здоровьем. Между строк Анна слышала: боится старшая дочь не родить мужу сына, наследника, продолжение рода торгового. Проходив восемь лет бесплодной, с засохшим чревом, нежданно разродилась Василиса долгожданным сыном, запестрели письма материнской негой: детёночек, пяточки, носик, мамка.

Средняя сестра, названная в честь матери и бабки Анной, жила от родителей недалеко, в селе Александровка, но родители видели ее редко.

– Только вы, светики мои, радуете родителей на старости лет, – обнимала Федора и Аксинью мать. – Все птенцы разлетелись из родительского гнезда, будто не тепло тут спать, не сладко есть. Переживай теперь о них, вечно сердце мое материнское болит.

– Да, мать, и мне не по нраву. Один Федька с нами останется, и он внуков не сообразит. Аксинье скоро уж замуж пора, бросит нас, стариков.

Аксинья обнимала мать с отцом и уверяла, что муж ей даром не нужен, всегда она в родной избе будет жить, и калачом ее отсюда не выманишь. Родители смеялись над ее причудами и поучали: «Жена при муже хороша, без мужа не жена».

– Не будем, Вася, Бога гневить, – завершала Анна привычный разговор, – у кого еще в деревне столько детишек выжило да порадовало родителей. Наших пощадила смертушка. Тому и будем рады.

* * *

– Аксинья, иди сюда, – Ульянка, несмотря на свою сдобную полноту, не пропускала ни одной проказы еловских ребятишек. Залезть на самую высокую ель. Пройти по Усолке, покрытой тоненьким слоем опасно похрумкивающего льда. Ловить рыбу на узком Лисьем острове. Дразнить самого злющего в деревне пса во дворе бортника Ивана. Лешка, Семка, Игнат и Ульянка. Откуда только бралось в ней это стремление к опасности, это желание пройти по краю…

Сама Аксинья была трусихой и ничего поделать с собой не могла. Не хотела она ходить по незамерзшей еще реке, лизать весенние холодные сосульки… Но остаться дома солнечным зимним днем – ишь чего! Не дождетесь! Ульяна великодушно брала с собой пугливую Аксинью и спокойную Анфису. Но далеко было им до рыжего бесенка. Округлив глаза, девки чаще наблюдали за озорниками, чем сами участвовали в забавах.

Но в тот летний день Ульяна нащупала больное место подруги:

– Трусливая ты, Аксинья. Как есть, трусливая. Береза-то невысокая… Так и будешь всю жизнь всего бояться. За печкой сидеть.

– Ты не слушай ее, – просил голенастый худой Семка, соскребая лоскуты кожи с облупившегося на солнце носа. – Она дурная, рыжуха. Пусть сама на березе этой сидит… Как кукушка… Ку-ку-ку-ку!

– Травы собираешь… Знахаркой быть хочешь… А для травницы тоже смелость нужна… Вдруг решат божьим судом испытать, тоже бояться будешь? – поддевая сарафан, Ульянка быстро спустилась с березы, хитроумно связала сарафан меж розовых полных ног.

– Будь по-твоему. Убедила. – Аксинья вздохнула и попыталась повторить движения верткой подруги. Медленно цепляясь за ветки, обхватывая дрожащими пальцами нарядно-белый березовый стан, она полезла вверх. Смотреть вниз было страшно, земля казалось далекой. Девчушка устремила взгляд вдаль, на деревню Еловую, раскинувшуюся вдоль берега Усолки, на речку с бирюзовой водой, в которой отражались облака, на влажно поблескивающую после дождя дорогу…

– А красиво тут!

Сверху и Ульянка, и мальчишки казались мелкими и смешными.

– Аксинья, слезай уже, – крикнул Семка. Он всегда вступался за девчонок и был самым справедливым из всех еловских отроков.

– Лезу я…

Длинный сарафан сковывал движения, трясущиеся ноги с трудом дотягивались до веток.

– Ой, страшно-то как…

– Глаза отверните, – напомнила Ульяна мальчишкам, засмотревшимся на такое диво, как сторожкая Аксинья, спускающаяся с дерева. До земли оставалось совсем немного, аршина[7] два, когда девчонка неловко поставила ногу на сучок, тот подломился… Летевшую с испуганным визгом Аксинью поймал Семен. Вместе со своей ношей он повалился на землю. Увидев так близко ее темные глаза с длинными ресницами, он сглотнул слюну.

– Спасибо… Семен, – Оксюша одергивала подол с травяными пятнами. «Ишь какая! Еле живая от страха, а улыбается. Спасибо…»

– Бесстыжие, чем занимаются! – бабка Анфисы, полная, одутловатая Матрена размахивала сучковатой палкой. – Ишь, с парнями тут кувыркаются! И Анфиску…в свои бесовские игрища втянули!

Растерянный Семен вскочил и, не чувствуя ног, побежал в лес. Билась, ворошилась мысль: вот о чем поют девки за околицей, вот что за грязные шутки рассказывают друг другу парни постарше, многозначительным хохотом провожая иную девицу.

Дети оторопело смотрели на бабку. Аксинья судорожно поправляла подол. Куда деваться от стыда?

Ульянка с независимым видом смотрела на бабку, чуть выпятив подбородок. Анфиса опустила глаза и закусила нижнюю губу, по лицу ее совершенно невозможно было понять: стыдно ей или нет.

– Фиска, ну-ка домой! – Матрена гнала внучку, погоняя ее, как глупую телку, своей палкой.

Видимо, пожаловалась бабка, довела Анну до белого каления. Остаток лета Аксинья, Анфиска и Ульянка провели на капустнике[8]. Рыжик долго хмурила почти незаметные брови. Парни перестали брать ее с собой. Презрительно кривили губы: «Девчонка».

[7] *Аршин* – примерно 71 сантиметр.

[8] *Капустник* – огород.

3. Девичество

Зима 1597 года была ранней. Уже к концу жовтеня[9] снег падал каждый день, заволакивая деревню белой пеленой. Скоро ударили морозы, и народ засел по избам. Женской половине семьи Вороновых было чем заняться: приданое Аксиньи, сложенное в больших сундуках, на взыскательный взгляд Анны, требовало пополнения. Целые вечера Анна с Аксиньей в бабьем куте[10] пряли нескончаемую пряжу, ткали холсты для рубашек, сарафанов, кофт и прочих нарядов, скатертей, простыней, коих должно было иметься великое множество в сундуках невесты, если не хотела она прослыть бесприданницей.

Ульянино приданое было скудным – без матери, тетушек и других родственниц тяжко ей было собрать все, что надобно справной невесте. С помощью Анны Рыжик кропотливо занималась извечной женской работой, радовалась каждой подсказке в рукоделии: как стежок прошить, как нитку сделать ровной и гладкой.

– Не бойся, Ульяна, и тебе нашьем нарядов. Ты как дочка нам, – утешала Анна Рыжика.

– Ты матушка моя, ты душа моя. Лешка с деньгами приедет, как Бабиновку достроят. Лишь бы мне не осрамиться перед еловскими. Родители Лешки голытьба, стыдить не будут… люди-то поглядят, что скажут!

Рыжик ластилась, гладила полную руку Анны. Аксинья наматывала пряжу на веретено. Шерсть колола пальцы, ускользала, виляла хвостом, а горло сдавливала непонятная обида.

Долгие зимние вечера сплетались в месяцы, за напевными песнями и работа шла быстрее. Анна низким, чуть надтреснутым голосом заводила песню, Ульяна с Аксиньей подхватывали. Чистый колокольчик Ульянкиного голоса вырывался на свободу. Мать с дочерью замолкали, боясь исказить, затемнить узорочье песни.

– Уж ты месяц, что за месяц?
Ночью светишь, а днем – нет.
Уж ты милый, что за милый?
Вечер любишь, другой – нет.
Уж ты месяц, белый месяц,
Мне, сердечный, помоги.
Ах ты милый, не постылый,
Поцелуй да обними.

– Ульяна, век бы тебя слушала, – утирала слезу Анна.

– Как страдаешь, как выводишь голосом. Не рано ли тебе, подруженька, песни такие петь? Милый, сердечко, поцелуй… – хохотала Аксинья.

– Да в самый раз. Лешку не забыла? – ерепенилась Ульяна, но послушно заводила совсем другие песни.

– Зайка, серый, где бывал?
Зайка серый, где гулял?
– Был я, парень, в том лесочке,
Гулял, парень, в том лесочке.

[9] *Жовтень* – октябрь.

[10] *Бабий кут* – женский угол в русской избе, где женщины занимались стряпней, рукоделием.

Аксинья подхватывала песню-прибаутку, передразнивала зайчишку нарочито высоким, писклявым голосочком.

– Зайка серый, не видал кого?
Зайка серый, не встречал кого?
– Видел, парень, я в лесу,
Видел девицу-красу:
Коса золотая, уста медовые,
Брови-соболя, очи пламенные.

Анна сдерживала улыбку, но смешинка гостевала в ее глазах, застревала в уголках темно-красных губ.

* * *

Филипповский пост, когда 40 дней вести себя надобно было тихо, скромно, питаться постной едой без мяса, молока, казался девушкам нескончаемым и самым скучным временем. Одно радовало – каждый день приближал к светлому празднику. Наступал долгожданный сочельник, в каждом доме варили сочиво, ячменные или пшеничные зёрна с медом.

Уже с утра начинали готовиться к празднику: Аксинья с Ульяной мыли полы, убирались в доме, Анна у печки весь день провозилась, Федор был на подхвате – воды принести, половички выхлопать, сундуки оттащить, а Василий занимался баней и наведением чистоты во дворе. Вечером пошли в баньку, мыться и париться. Сначала мужики в самый жар, потом бабы.

Аксинья в бане нет-нет да скосит глаза на подружку. Грудь Ульянкина росла не по дням, а по часам, будто и правда дерьмом мазала. Этот совет лукавый бабы всегда давали девкам: мол, в курятник сходите и пышные перси отрастите. Всерьез, конечно, совет никто не воспринимал. Но для худенькой Аксиньи ее медленно растущая грудь была предметом большого разочарования. «Эх, у Ульянки в любом сарафане видно грудь. Невеста невестой. Снизу-то волос сколько! Баба почти, а я…»

Матери девушка так и не решилась поведать о своих огорчениях, а Глафира в ответ на ее сетования пообещала, что все еще будет. И сверху, и снизу вырастет все, что надобно. Просто у одних происходит это быстрее, и сами они потолще, посправнее, у других помедленнее. Но природа всегда берет свое. Другой тайной печалью Аксиньи было, что она еще девушкой не стала, Ульянка давно уже прятала окровавленные тряпицы, жаловалась: «Болит живот и муторно! Тебе, Аксинья, повезло».

С наступлением вечерней трапезы оканчивался и строгий филипповский пост. Можно было вдоволь наесться и поросенка запеченного, и окорока, и колбасы домашней, такой вкуснятины, что и за уши не оттащить.

– Аксинья, Ульяна, – надрывалась за воротами стайка девок и парней.

– Глянь, Семка с ними, – вытянула шею выскочившая на крыльцо в одном сарафане Ульяна. – Слышим, глотку не рвите. Выйдем сейчас.

Лицо и руки Аксиньи вымазаны были сажей. Для пущей красоты подрисовала она себе усы и прицепила клочки козлиной шерсти на вывернутые тулупы.

– Ульяна! Ты ж перепугала до смерти!

Аксинья завороженно разглядывала причудливую маску. На обруч из бересты нашила Ульяна куски медвежьей шкуры, в прорехах виднелись острые зубы добытых Лукьяном зверюг, сзади свисали козлиные хвосты. До самого носа закрывала маска девичье лицо, оставляя открытыми лишь довольно улыбающийся рот.

– Когда ж успела?

– Избу свою протапливать ходила, там и шила. Пригодились отцовские шкуры из сундука. Вот девки завизжат!

– А зубы-то волчьи зачем прицепила?

– Укушу, гляди, – повела головой Ульяна.

– Б-р-р-р.

Поглядели друг на друга, прыснули смехом. Выбежали из избы, хлопнув дверью.

– Ульянка, ты что ли?

Девки и парни окружили ее, с удивлением разглядывая причудливый наряд. Игнат, которого сложно было узнать в козьей шкуре и с рогами на голове, подхватил ее за руку.

– Иди, красавица, с нами.

– Христос рождается, славьте, – пропела румяная Зоя и подмигнула подругам. – В какую избу пойдем? Где больше пряников дадут? К Макару-бедняку не стоит.

– Айда к Спиридону Петуху, – крикнула Ульяна.

Игнат весело осклабился:

– Там коляду ждут.

Веселая ватага с песнями и прибаутками двинулась по деревне.

– Коляда, колядка!
На языке сладко,
Выноси блины
Ай да вкусны!

Полная, с маленьким носом, утопающим в красных щеках, Дарья, жена Спиридона Петуха, заливисто хохотала, целовала измазанных сажей парней и девок. Ее младшие дети, мал мала меньше, полураздетые, выскочили на крыльцо и с визгом крутились вокруг ряженых, лезли на руки к черту-Игнату, признав в нем старшего брата.

– Угощайтесь, родные, – в протянутые руки чертей, козлов и прочей нечисти упали теплые, сочащиеся жиром пышки.

По всей Еловой раздавались песни, шутки, смех. Двор старосты Гермогена и его снохи Еннафы шумная ватага, не сговариваясь, обошла стороной.

Аксинья, заправляя под платок выбившиеся из косы волосы, чуть задержала шаг. Сейчас же рядом с ней появилась фигура с бараньими рогами и кривой улыбкой на черном лице.

– Аксинья, разговор есть.

– Да что мне с тобой, Семка, говорить. Догоняй!

– Стой, – схватил долговязый парень ее за плечи. – Ты что ж такая…

– Семка, отстань!

Аксинья бегом догнала ватагу и подхватила под руку горделиво шагающую Ульяну.

– Семка приставал? – пряный, сладкий запах медовухи окутал Аксинью. – Пощупал бы через тулуп. Убудет что ли? Напоследок.

– Ульянка, почаще бы чарку отставляла в сторону. Смотри, отец мой унюхает – обеим достанется.

На Святочной неделе вся деревня гудела. Песни, пляски, визг и ряженые. Печи с томящимися мясными похлебками. Лишь в эти дни бабы и девки могли без оглядки выпить большую чарку медовухи назло всякой нечисти.

– Ульяна… Голос охрип, – Семен поравнялся с подругами. – Домой пора. Христос родился, – наклонился он к рыжухе и запечатлел на ее щеке мокрый поцелуй. Даже не посмотрел на Оксюшу. Шатаясь, пошел домой.

– Меня будто и нет…

– Ты чего надулась? Сама от него убежала.

– Твоя правда.

– Сама ты не знаешь, чего хошь… Задурила парня.

– Дурень он сам по себе… Без меня…

Подруги замолчали, слышен был лишь праздничный скрип снега под ногами.

– Анфиса, – окрикнула Аксинья тихо бредущую маленькую фигурку.

– Оскюш?.. Домой идешь?

– Держи. – Аксинья протянула связанные в тряпицу пряники и лепешки Анфисе.

– Спасибо. – Та сжала узелок и спрятала глаза.

– Подруженька… Накорми воробышков. Небось с голоду помирают, – Ульянкина рука с пряниками повисла в воздухе. Анфиса, шумно втянув воздух, резко развернулась и почти побежала к родной, вросшей в землю избе.

– Ты зачем с Фисой так? – Аксинья уминала теплым сапогом снег. Круг, лучи…

– Солнце у тебя получается?

– Ульяна?

– Почему помогать мы ей должны? Гордая такая. Слова хорошего не скажет. Только голову задирает. Пусть бедняцкое семя место свое знает…

Изба Анфисы соседствовала с Ульяниной, земля была самой бросовой. Ермолая по прозвищу Овечий Хвост в Еловой не уважали за большое пристрастие к хлебному вину. Его жена, тихая замученная Галина, боялась мужа как огня. И эту боязнь передала детям. Младшие братья и сестра, замурзыканные и голодные, зимой не показывались на улице. Лешка, сын Ермолая, потому с охотой и отправился на многотрудное сооружение Бабиновской дороги – выйти из родительской нищеты.

Анфиса отличалась и от непутевого отца, и от безголосой матери, замученной нуждой. Была Фиса спокойной и рассудительной девкой. Темно-русая коса, неяркое лицо, вечно потупленные глаза скрывали острый ум.

Анфиса, дочь Ермолки, часто застенчиво скреблась в дверь Вороновых. Аксинья уставала от громкоголосой Ульяны, и в радость был тихий голос и разумные речи Фисы. А та с благодарностью проводила вечера в уютной избе подруги, без ругани и пьяных криков, которыми был наполнен ее отчий дом.

– Не любишь ты Фису. Золовка твоя будущая… Сестра Лешкина. Он вернется, что скажет? Дружить ты с ней должна, а не ругаться.

– Спать хочу, – Ульяна так и не ответила на вопрос подруги.

* * *

После сытного, до ядреной отрыжки ужина началось любимое развлечение Вороновых. По случаю на солекамском рынке куплена была Святая книга. Желтая, потрепанная, с каплями жира и копоти на кожаном переплете, она перелистывалась многими руками до того, как попала к Вороновым.

– Не может, братия мои, сма… смоковница приносить масло…маслины или виноградная лоза смок…вы. Так же и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. – Аксинья по слогам выговаривала мудреные слова. – Батюшка, а смоковница…Что такое?

Василий теребил задумчиво бороду, отложив в сторону упряжь. Дочка и жена пытливо смотрели на него, ждали ответа. Ульянка перебирала ленты и бусы, ее чудеса заморские вовсе не интересовали.

– Аксинья, это вроде нашей пшеницы, хлеб приносит.

– Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кра… кро…тостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и варивость… сварливость… то не хвалитесь и не лгите на истину.

– Благостны слова твои, Господи, – одобрительно теребил бороду Василий. И еще через пару страниц Книги, пожелтевшей, заляпанной, голова его клонилась вниз, нос начинал высвистывать тонкую мелодию.

* * *

– Аксинья, Семка ни на шаг от тебя не отходит… будто привороженный. Глафира научила? – выспрашивала Ульянка.

Соседский Семен с прошлого лета смотрел на Оксюшу осоловелым взглядом и ходил за ней, как телок. Она его дразнила. Заливалась звонким смехом, когда Семен заводил разговоры. Не отказывалась от медовых сот в туеске. Шепталась с ним на глазах у деревенской молодежи.

Подругам Аксинья твердила одно:

– Они, еловские наши, смешные, лопоухие, нескладные. Вместе мы с ними росли, помним их мелкими совсем. Ни одного добра молодца на всю Еловую…

С Рождества до Крещения девки собирались, гадали на суженого. Аксинья с Ульяной были в том возрасте, когда жгучий интерес к гаданию помножен на детский восторг от любых чудес и колдовских дел.

– Пошли к Марфуше, там завтра все девки ворожить будут, – предложила Ульяна.

– А мы сегодня дома погадаем. Что, вдвоем не можем? – захлопала в ладоши Аксинья. – Матушка, восковую свечку возьмем?

– От беса это все, – проворчала Анна. Но смягчилась, заиграли улыбкой строгие глаза. – Да берите. Забавляйтесь, пока молодые. Идите только в светелку, под ногами не крутитесь.

Светелка, которая согревалась одним боком жаркой печи, была куда холоднее истобки. Девицы набросили шерстяные платки и, зябко переступая босыми ногами по ледяному полу, пристроились на застеленной рогожкой широкой лавке, опоясывавшей всю светлицу. В миску глиняную налили воды, трижды прошептали:

– Водица, водица, воск на тебя упал, мне всю правду рассказал.

Самодельные свечки охотно капнули в подставленную миску. Оставалось ждать, какая фигурка выйдет.

– Аксинья, у тебя воск, будто чертик, застыл. Смотри-ка, хвост да копыта.

– Ну тебя, больше на собаку похоже. Иль волка, – разглядывала Оксюша затейливые восковые завитки. – А у тебя… младенец! Смотри-ка! Вот голова…Ручки-ножки.

– Точно! Я не углядела. Значит, в будущем году родить мне суждено. Лешка с дороги приедет, свадьбу сыграем. Эх… – мечтательно закатила глаза.

– Все ж на черта похоже. Хвост. Копыта острые. Даже шерсть видно. Права ты, подружка.

– Правда истинная… гадание это. Бабка моя говорила: все сбывается. Нечистая сила помогает, – Ульянка перекрестилась.

– Дурость, Рыжик! Всего лишь воск.

Подруги примолкли. Слышен был тоскливый вой деревенских собак, мечтающих о тепле. Тихо напевала Анна.

– С колечком гадать будем? – встрепенулась Рыжик.

– Где ж мы возьмем его?

– Да у матери твоей серебряное колечко. Лазили в короб прошлой осенью. Видали. Помнишь?

– Помню… Лишь бы матушка дала. Не любит его вытаскивать. И на Святки не выпросишь.

Аксинья состроила жалобную гримасу:

– Матушка, а матушка, можно колечко мне твое взять? Гадать мы хотим на суженого.

Анна вздохнула и открыла крышку старого берестяного короба, в котором хранилось когда-то ее приданое. Холщовый мешочек на самом дне сундука прятал серебряное кольцо. Простая полоска металла потемнела от времени.

– А кто подарил его тебе? Отец? Никогда про это не рассказывала.

– Не любопытничай, дочка. Хотела гадать – гадай. У меня дел еще невпроворот. – Анна бросила на дочкину ладонь кольцо.

– Вот оно! – Аксинья показала свою добычу. – Дери волос из косы, Ульяна.

Длинный рыжий волос был продет в колечко, колечко опущено в миску прямо над водой. Можно приступать.

– Колечко, колечко, скажи ты мне, в этом ли году я замуж выйду? – колечко крутанулось да стукнуло один раз по миске.

– Выйдешь…

– Колечко, как будут звать моего мужа? Аксинья. Ты у нас грамотная.

Кольцо, как живое, подпрыгивало, стукалось о края глиняной плошки, ловило отблески умиравшей свечи.

– Звяк…

– Аз…

– Звяк…

– Буки…

– Звяк

– Веди…

– Звяк…

– Глаголь… – Колечко утихло, закрутилось на месте. – Все? Глаголь! Гусь… Горох… – насмехалась Аксинья.

– Ну тебя! Сама с гусями милуйся, – скривилась Ульяна. – Георгий подходит…

– Или Григорий… Ты знаешь хотя бы одного?

– Нет таких. Аааа, есть!

– Кто?

– Дед Гермоген. Да он древний такой. Идет, и песок сыпется. Ой, не могу! – Девки повалились на пол от смеху, чуть не уронив чашку с водой на пол.

– Нет, за Гермогена не пойду! – Морщинистый дед был самым старым мужиком в деревне. Сколько ему лет, он сам уж не помнил. – Аз… Алексеюшка. Врет все.

Долго еще Ульяна терзала кольцо. Спрашивала. Будет ли любить ее муж будущий? Сколько деток будет? Серебряный ободок исправно отвечал: муж будущий любить будет, трое детей.

– Хватит уже, давай я погадаю. – Аксинья и не сдерживала нетерпения.

Теперь в кольцо был продет темный чуть завивающийся волос, и последовали те же вопросы, заданные уже нежным голосом Аксиньи.

– Колечко-колечко, выйду ли я в этом году замуж? Если да, стукни по миске раз, я пойму.

Колечко крутилось, крутилось и стукнуло один раз.

– Значит, и я выйду замуж скоро… За кого? Скажи, колечко, всю правду.

– Аз… – Аксинья продолжала перебирать буквы, и сердце трепыхалось, и руки подрагивали.

– Звяк…

– Глаголь… Колечко, колечко, шутишь ты над нами. И у меня жених Гермоген, – прыснула девушка. – Да как же так? Знаю я, как мужа моего будущего зовут. И ничего не поменяешь… – Уголки губ опустились.

– Никита? А ты о другом мечтала имени? А, Оксюшка? – Ульяна, блестя глазами, лукаво смотрела на подругу.

– Не хочу больше гадать, давай спать. К чертям женихов!

– Нравится тебе Семка соседский. От меня не скроешь. Слова плохие про него говоришь. То притянешь, то оттолкнешь… А сама аж светишься, как его завидишь. – Рыжик возилась на лавке.

Аксинья потушила лучину и быстро нырнула под тряпичное, набитое пером одеяло.

– Слышишь, как черти воют за стенкой. Зря ты, Оксюш, поминала их, – раздался через несколько мгновений встревоженный голос Ульянки.

Вьюга разгулялась не на шутку, закручивала снег в безумном танце, гремела утварью во дворе, протискивалась в щели меж бревен, законопаченные теплым, надежным мхом.

– На Святой неделе чертям не время колобродить. Они попрятались давно. Спи, Рыжик.

Чистое девичье дыхание, одурманенное сном, закружилось над печью. Не были еще разбужены юные сердца, жили девчушки спокойно, по-детски воспринимая окружающий мир как источник радостей и забав, не изведали мук любви и ненависти. Все это им только предстояло познать.

* * *

На Тимофея-весновея[11] в Еловую вернулись пятеро парней, отправленных строить государеву дорогу. Проложенная еще полсотни лет назад, Чердынка петляла от Соли Камской по Каме, Вишере и еще десятку мелких речек, потом волоком до Тобола и дальше уже до Оби с Иртышом. Долго и муторно было по ней добираться до Тобольска, Тюмени и полудюжины острогов, что основали казаки на земле сибирской.

Царь Федор Иоаннович доверил славное дело посадскому человеку Артемию Бабинову, ничем особо не отличившемуся, промышлявшему продажей соли, мяса, скобяных изделий – всего помаленьку.

Лучшие солекамские купцы хмуро шептались:

– С чего это такие почести? Поди на лапу воеводе да подьячим дал, пройдоха.

Артемий, промышлявший зверя, ходил частенько по окрестным лесам, прокладывал тропы. В нескольких десятках верст от города, у Чаньвинской пещеры, он увидал, как вогулы обряды свои срамные, языческие творят. Ухмыльнулся Артемка, перекрестился. Пошли вогулы от пещер к своим диким жилищам, Артемка – за ними. Ветки ломал, тропу метил, по таким чащобам они шли – не приведи Бог – и вышли прямо к верховьям Туры.

– Вот они ворота в Сибирь-то! – почесал лысый затылок Артемий.

Пришел он к подьячему, составили письмецо. Стал Артемий на стройке командовать. Деньги немалые выделили, большая ответственность и почет немалый. А лес рубить, дорогу расчищать, мосты строить крестьян отправили. С каждой деревни согнали парней да бобылей.

Ревели еловские матери и невесты, чуть не на коленях за Гермогеном ползали. Но он был неумолим. Выбрал самых крепких и смышленых – Лешку Ермолаева, брата Анфискиного, Фадейку Петрова, Игната Петуха, двоих парней петуховского племени. Галина, мать Лешкина, рыдала пуще всех. И так нищета, прореха на прорехе. Без сына муж все хозяйство пропьет.

– Прямо на глазах моих. Вот стоял Лешка! И нет его. Дерево хрясь, а головешка раскололась, как черепок. А там месиво белесое, кровь. Страсть такая! Лежит, а головы нет. Только шутил, в снег сопли сплевывал! – рассказывал Игнат Петух вечно пьяному Ермолаю, зареванной Галине.

– Нет счастья мне, – ревела на всю деревню Ульяна, прошлой весной давшая жаркое согласие на предложение косолапого Лешки. – Лешенька-а-а-а, на что ж ты меня оставил!

---

[11] *Тимофей-весновей* – народный праздник, связанный с именем святого Тимофея Олимпийского, предвестник весны; 21 февраля по старому стилю.

Каждую ночь бурливые девичьи слезы пропитывали насквозь соломенный тюфяк. Аксинья утешала подругу:

– Хочешь, бусы коралловые свои подарю? Ульян, не плачь так.

– Бусы? Те, красные? Давай.

Скоро Рыжик прыгала по избе, нацепив на сарафан обновку.

– Угомонись, девка, – прикрикнул Василий. Ульяна пугливо втянула шею.

Молодость быстро стирает горе, затмевая его радугой надежд и предстоящих радостей. Скоро Рыжик забыла о неудачливом парне, чьи кости закопаны были где-то у обочины Бабиновской дороги.

Игнат Петух как вернулся, так озоровать стал, девок щупал. Всем, кто соглашался его слушать, повествовал про озорных вогулок[12], про дремучие леса и норовистые реки, которые укрощали они во славу царя Федора Ивановича. Не все верили его россказням, но на любой вечерке был он желанным гостем.

Крестьяне получили свои копейки, Бабинов – богатые земли в верхнем течении Яйвы и свободу от податей, а Соль Камская стал еще пуще расти и богатеть, преисполняясь ощущением собственной значимости.

Город кормил, поил, как беспутная девка в кабаке, совращал, снаряжал в сибирские дикие земли всех тех, кто искал там славы, денег или лихой удачи, а собирал часто иной урожай – болезни и смерть.

* * *

Солнечным березовым[13] утром отец и Аксинья отправились на базар. Воздух был морозным, но приближение весны чувствовалось во всем – в прозрачном воздухе, особом запахе готовой пробудиться природы, в перезвонах птиц. Василий хмурил брови: с Федей приключился очередной приступ. Полночи Анна успокаивала его, утирала лоб холодной тряпицей.

Солнце яростно светило. На взгорках снег потемнел, стал рыхлым и ноздреватым, как свежий каравай. Каурый резво вез сани, взрыхляя острыми копытами гладкий накат, и порой всхрапывал от озорства.

Болтая по своему обыкновению обо всем на свете – как звери зиму переживают, что в городе купить надобно, о деревне и ее обитателях, Аксинья смотрела на отца и видела, что годы оставляют на лице свои следы. Проблескивали серебром волосы, углубились морщины, но стан не потерял еще легкости и быстроты.

– Аксинья, сегодня у Ерофеевых гостить не будем, домой сразу поедем. Не огорчайся, в следующий раз с ночевкой…

– А я не больно-то и расстроена, – пробормотала девушка так, чтоб отец, начавший глохнуть на правое ухо, не услышал.

Сдал Василий Ерофееву горшки и кувшины, обменялись они положенными любезностями.

– Ишь, невестушка будущая цветет, – подмигнул лавочник, Аксинья смешалась, опустила глаза. – Скромная девка, верно растишь дочку. А то пошла мода щеки малевать, – одобрил Ерофеев. Разговор быстро перетек на другие, куда более важные темы: вырастет ли посошное, не введут ли новый сбор, будет ли выгода от Бабиновки ремесленному люду.

Василий с дочерью ходили по торговым рядам, шумным, пропахшим кожей, пряностями и копченым духом, зашли в Свято-Троицкий собор на обедню, помолиться перед знаменитой

---

[12] *Вогулки* – представительницы местного населения, народа, родственного хантам и манси.

[13] *Березовый месяц, березень* – март.

иконой. Получив благословение отца Михаила, умиротворенные, с легким сердцем вышли они из храма.

– Да правда это, вот вам крест, – истово божился мужичок в драном тулупе, – зять мой в Соль Вычегодской был, там давно знают… Горе-то какое, православные! – столпившиеся мужики сняли шапки и приуныли.

– Что случилось-то, мил человек? – вклинился Василий в разговор.

– Царь-батюшка наш, Федор Иоаннович скончался аккурат после Светлого праздника Рождества. Мир праху его!

Царь умер 7 января 1598 года тихо и мирно. В предсмертном томлении беседовал с кем-то невидимым для других, называя его Святителем, и распространился при кончине его в Кремлевских палатах запах благоуханный.

– Истинно святой царь, осененный милостью Божьей, – шептались мужики.

– А теперь кто на престоле Святой Руси восседает? У Федора Иоанновича наследников-то нет, и царевич Дмитрий убиен в Угличе.

– Борис Годунов, зять Федора Иоанновича, сказывают… на престол взошел. Ни капли крови царской, ложный царь правит нами… И царевича, говаривают, он… В Пелыме такие толки идут[14]…

– Ты говори, мужик, да не заговаривайся. В Угличе, известно, предатели, Митрия замучившие. Если правит нами Борис, значит, на то воля Божья, и хватит на этом. – Аксинья восхитилась зычным голосом отца. Как уверенно он разговаривает с мужиками, как держит себя. – При Федоре Ивановиче был он его правой рукой. Чтит старые порядки, церковь. Вы воду не мутите.

Народ притих.

Каурый бежал тряскою трусцой. Сани катились по дороге, вкусно поскрипывая. Внезапно Каурый остановился, испугавшись прошмыгнувшего мелкого зверька, сани занесло в сугроб на обочине. Когда отец, кряхтя, вытащил сани, оказалось, что полозья вывороти лись.

– Косой, видать, пробегал. Наш Каурый напужался, дурная голова! Ох, дочка, надо приподнимать… Мне одному ни в жисть не справиться, силы не те. И Федора нет, с ним бы мы в два счета сани подновили.

Солнце катилось к земле, стужа залазила под тулуп, щипала, знобила: в начале марта в их местах подмораживало по-зимнему. Как назло, дорога была пустой.

Приплясывая на месте, Аксинья пыталась согреться. Мерз нос, леденели руки-ноги, не спасала уже теплая одежа. Околевать бы и дальше, если бы не чудом появившийся парень на вороном коне. «И сам вороной, и конь вороной масти. Чудно!» – подумала Аксинья.

Спешился молча, кивнул на просьбу помочь в тяжком деле. Когда «вороной» парень спрыгнул с коня, стало видно, что молодой он совсем, годков на пять постарше Аксиньи, и сильно припадает на одну ногу.

С помощью молодца сани были починены, Вороновы продолжили путь. Парень ехал чуть впереди, на расспросы отца отвечал коротко, немногословно.

Порой Аксинья ловила на себе его взгляд. Взгляд, от которого хотелось убежать, спрятаться. Она отворачивала голову, недовольно морщила нос. А парень усмехался одной половиной рта и думал, казалось, о чем-то приятном.

Василий оставил попытки разговорить нежданного помощника и принялся насвистывать мелодию, подхваченную у гусляра на солекамском рынке. Аксинья попыталась вторить его напеву, но ее «фьиииииить» вышло таким нескладным, что отец захохотал в голос, а парень ухмыльнулся.

Когда дорога привела их к Еловой, вороной молодец кивнул почтительно Василию.

---

[14] В Пелым были сосланы угличцы, признанные виновными в смерти царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного.

– Рад помочь. Прощайте.

Низкий голос. А слова говорит чудно, растягивает. Отличался у чернявого говор от местного, пермского, не с уральских земель он родом.

– Спасибо тебе, – кряхтя, отец спрыгнул с саней и смотрел вслед парню.

– Так и думал я. Кузнец новый.

Темный взгляд…Страшный, непонятный. Недаром бабка Глаша говаривала, что знаются кузнецы с нечистой силой. Аксинья, подхватив сверток с городскими покупками, побежала в избу и попыталась выкинуть из головы свое раздражение.

Девушке исполнилось четырнадцать годков – возраст, когда родители уже подсчитывают приданое и ждут сватов. Была она хороша мягкой девичьей красотой, гибкий, стройный стан – слишком стройный, по мнению еловских баб, большие темные глаза с чуть восточным разрезом. Вьющиеся рыжевато-каштановые волосы окутывали ее облаком, когда вечером Аксиньюшка распускала их и расчесывала с помощью Ульяны. В самом облике, в выражении темных глаз, лукаво изогнутых устах, маленьком выступающем подбородке проступало своеволие.

Парни заглядывались на Аксинью. На вечерках, на хороводах за околицей она получала свою порцию шуток, подначек и предложений погулять вдоль речки. Боялась Аксинья всех этих вольностей, помнила материнские наказы:

– Ты парням воли не давай. Смотри у меня! Растаешь, разнежишься, заговорит тебя олух какой речами своими, а потом принесешь в подоле! Только топить тебя и останется после этого!

Конечно, Аксинья не верила, что любящие родители отправят ее восвояси с младенцем, но чем черт не шутит. Даже сон ей как-то приснился после этого разговора и особливо после случая с Дусей, старшей сестрой Игната Петуха.

Евдокия, хохотушка, пышечка, громче всех поющая частушки, задирающая парней звонкими шутками, попала в беду: ходил к ней парень с соседнего села, гуляли они вечерами. И все было уговорено у родителей, сваты должны были нагрянуть, а что-то у того парня в голове щелкнуло, и подался он в стрелецкое войско. Много разговоров ходило, что берут туда и черносошных крестьян, платят много, живут стрельцы хлебно и привольно, сила они военная Руси. И все бы ничего, погоревала Евдокия и оправилась от позорного бегства жениха, но оказалось, что много лишнего позволяла Дуся сладкими летними ночами. Девка ходила вся зареванная, деревня судачила о позоре ее, а однажды утром не нашли ее родители в избе, пропала Дуся бесследно. Несколько дней спустя нашли мальчишки утопленницу на берегу.

– Грех-то какой! Как могла такое вытворить с отцом-матерью, – сокрушались те же соседки, вяжихвостки[15], что недавно злоязычили о девке и довели ее до такой печальной судьбы. Этот пример стоял перед глазами Аксиньи, Ульянки и еще полудюжины девок, входящих в самую сладкую и опасную пору девичества.

* * *

Прошло еще дней пять, солнце стало припекать, превращая гладкую белую роскошь снега в черное пористое месиво. Ребятню, молодежь тянуло на улицу, часто видно было, как девки и парни впопыхах выбегают из дому, крича: «Маманя, я гулять!»

Ульяна теребила подружку:

– Пошли кузнеца нового посмотрим. Говорят, чудной он какой-то.

– Неприятный он. Бр-р-р. Взгляд как у лешего.

– Пошли. Оксюша!

Девки отправились на противоположный конец единственной улицы Еловой – кузня располагалась на отшибе, чтобы огонь из горна не перекинулся на деревню.

---

[15] *Вяжихвостки* – сплетницы.

Два десятка лет в кузне управлялся Пров, мастер на все руки. С шутками да прибаутками он работал от рассвета до заката. Прошлым летом Пров подался на юг.

– Буду греть кости да яблоки медовые есть, – рассказывал он всем желавшим его послушать. – Гермогена уломал я, отпускает он… Кошелек исхудал. Заработаю ишо!

Собрал скарб за три дня, детишек посадил на телегу да был таков, к глубокому сожалению односельчан. Осталась деревня без кузнеца и с лишними податями, что надобно было платить за уехавшего.

С Рождества деревня перебивалась как могла: кто в Соль Камскую ездил, кто в соседние деревни. В лютый месяц[16] зазвенела кузня мелодичным звоном. Потянулась вереница еловчан: у кого плуг прохудился, у кого лошадь подкову потеряла.

Слух пошел, что Григорий, кузнец нелюдимый, мымра[17], буркнет себе под нос что-то, взглянет недобро – и давай колотить молотом. Но работал он хорошо, копеек больше, чем отработал, не требовал. Потихоньку привыкали люди к его нраву. Григорий Ветер – его чудная для уральских мест фамилия совсем не подходила основательному кузнецу – жил в избе, нахохлившейся в двадцати шагов от кузни.

Пышная, сероглазая, золотоволосая Марфа, мечта окрестных мужиков, подступилась с предложением:

– Дай помогу с хозяйством, мил человек. Углы выскребу, приготовлю…

– Сам справлюсь, – буркнул кузнец.

У детворы появилось новое развлечение – смотреть в мутное окошко кузни, затянутое бычьим пузырем, как кузнец работает, как вздуваются вены на лбу и могучих руках.

– Колченогий! Хромой! Черт! Ветром надуло!

Впрочем, стоило Григорию появиться на пороге кузни – и озорников как ветром сдувало. А раз поговорил он с Фимкой, вихрастым рыжим пакостным отроком, по-мужски, и детвора успокоилась. Игнатку Петухова, Спиридонова сына, парня здорового, сильного, заматеревшего на Бабиновке, Григорий присмотрел себе в помощники.

Ульянка тащила Аксинью в сторону кузницы с определенными намереньями. Как увидела она вечером Григория, так тянуло ее, будто медом там намазано.

– Помнишь ты гадание наше, жених на «глаголь»? Григорий, он! Не врало колечко. Вот она крещенская ворожба, всю правду скажет.

– Странный он. Взглянет – мороз по коже. Ульянка, зачем он тебе?

– Много ты знаешь. У тебя мороз, у меня жар печной. По нраву его глаза горячие, руки сильные. Одна беда…

– Какая беда?

– Нога у него сухая.

– Хромает и хромает. И что с того?

– Бегать со мной не сможет наперегонки. Дети вдруг в него пойдут, будут колченогие. Хотя… кузнец – человек в деревне не последний. С голоду не помрет, всегда в почете. А мне надо к мужику прибиться, отец гулящий, в людях живу, – путано говорила Ульянка.

Позабавившись ее рассуждениям, Аксинья ответила, что не в людях она, а у подруги, у сестры названой живет.

– А дети колченогими от кузнеца не родятся. Чушь это! Ты у бабы Глаши спроси, она про все это знает. Объяснение скажет, да так, что заслушаешься. А про гадание – помнишь же, что мне колечко то же самое сказало? Теперь и мне Григория суженым своим считать?

– Видала я твою ведунья знаешь где!

Так и ходили девицы, делясь своими мыслями и мечтами.

---

[16] *Лютый месяц* – февраль.

[17] *Мымра* – нелюдимый человек.

– Хочу большой-большой любви, как в сказках у Василисы и Ивана-царевича… И чтобы никто ему не был нужен, кроме меня, на все он был готов – из избы горящей вытащить и унести на руках далеко-далеко…

– Раскатала губу! – фыркнула Ульянка.

– Да неважно… Знаю, глупости все, блажь. Нашли мне уже сокола ясноглазого родители.

– Да какой он сокол… Скорее, хряк, – захохотала подружка.

Они еще долго обсуждали и передразнивали будущего жениха Аксиньи.

– Везет тебе, Ульяна, сама выбирать будешь мужа. Твоему отцу и недосуг заниматься этим. А мои выискали молодца! Фу! Не хочу я за него, хоть ты тресни!

– Счастье придет – и на печи найдет. Может и получится все, как хочешь, – задумчиво ответила подружка, удивляя Аксинью непривычной рассудительностью.

Еще лет десять назад Василий задружил с Акимом Ерофеевым, хозяином торговой лавки в Соли Камской. По большим праздникам в гости друг к другу ездили. Дети младшие, ровесники, вместе играли. У Вороновых Аксиньюшка, у Ерофеевых – Микитка.

– Эх, красота, – радовался отец девушки. – Наша семья породнится с купцами. Лучшего мужа тебе, Аксиньюшка, и искать не надо! Как у Христа за пазухой будешь, вечно бате благодарна.

Мать поддакивала, в очередной раз радовалась счастливой судьбе своих старших дочерей, удачно выданных замуж, и готовила сундуки с приданым младшей.

Не возражала девушка родителям, грех это большой. Но от одного взгляда на чудесного суженого ей становилось плохо. С самого детства Микитка донимал ее, дразнил, дергал за косы и пребольно пинался. Взрослые только хохотали: ишь, как ухаживает! Любит невесту!

Микитка был раза в два тяжелее своей тоненькой невесты. С пухлыми щеками, пальцами-сосисками, необъятным чревом он был похож на раскормленного борова. С возрастом Микитка вытянулся, исчезла грузность. Щеки, лишние телеса, хитрый взгляд остались прежними. Никуда не девалось и желание донимать Аксинью. Способы стали совсем другими. Умудрялся он это делать так ловко, что родители не видали. То за щеку ущипнет, то дышит прямо в лицо луком и кислыми щами, то лезет под юбку.

Аксинья отбивалась от суженого как могла, толкала, кусала, даже ухватом по голове огрела. Старалась не думать, каково же ей будет ужиться с ним. Жена должна почитать и любить мужа своего. Микитку же не то что уважать, даже терпеть рядом не было никакой возможности.

– Гляди, он! – прерывая мысли Аксиньи, горячо зашептала подружка.

Кузнец, казалось, намеревался пройти мимо – что ему две девицы, много младше, хихикающие на улице. Но приостановился, поздоровался, казалось, хотел что-то еще сказать. Крякнул неопределенно и пошел восвояси.

– Григорий, а, Григорий, – осмелела Ульяна, – приходи сёдня в избу к Марфе Макеевой. Мы собираемся, хохочем, песни поем. Почто не ходишь?

– Нет охоты, – буркнул кузнец, обжигая подружек своим взглядом. – А мож, и приду, раз зовешь, – и пошел дальше.

– Вот, видела! Как смотрел на меня! Зырк-зырк! Ну все, Аксинька, нашла я суженого своего, – радовалась Ульяна.

Аксинья веселиться не спешила. Хотелось ей остаться одной и подумать, а может, и поплакать. Пореветь над несправедливостью – Ульянка вон приглядела нового миленка, а ей всю жизнь коротать с нелюбым Микиткой. Хотелось ей напомнить подруге, что недавно суженым ее слыл Лешка Ермолаев. Быстро забыла Ульянка жениха своего. Но проглотила горькие слова.

– Пойду я к бабе Глаше. Ты со мной?

– Да ну ее, колдунью эту, – скривилась Ульяна. – Пойду я дома приберусь, батя скоро должен приехать.

Многое совпадало у подружек: и печали, и радости, и мечты. А знахарка была частым поводом для ссор. Рыжик травницу не любила, называла ведьмой. У нее была особая причина. Однажды Аксинья привела с собой подружку с Глафирой познакомить, Рыжик давно напрашивалась.

– Сердце у тебя завистливое да нутро черное. Иди отсюда, – огорошила Глафира Ульянку. Та рассвирепела, дверью хлопнула и в слезах выбежала из избы.

Аксинья захлебнулась обидой:

– Баба Глаша, зачем ты так?

– Того она заслуживает! Давно говорила я матери твоей, чтобы не привечали вы девку эту. Она меня не слушает. Думает, что я из ума выжила. И ты…

Да, баба Глаша – первый человек в деревне. И знает она много всего, и лечить умеет, и песен-присказок знает тьму-тьмущую. «Ульяну незаслуженно охаяла», – думала Оксюша.

Блажь нашла на ведунью, не иначе.

Глафира

Судьба Глафиры была причудлива и необычна для их мест. О жизни своей Глафира рассказывала увлекательно – Аксинья только успевала слушать и впитывать своим жадным умом.

Отец бабы Глаши, Дионисий, служил подмастерьем у Анастаса, знатного мастера живописи. Вместе с Анастасом уехал он из теплой Греции и оказался на русской земле. Вместе расписывали они московские храмы.

Дионисий хорошо освоился в стольном граде, выучил язык, ходил по кабакам. Полюбились ему русские женщины своей красотой и добрым нравом. Когда патрон засобирался в родную Грецию, Дионисий остался в Москве. Он начал малевать иконы, и, хоть не отличался особым талантом, шли иконы нарасхват. «От греческого мастера зело красивы», – хвалили покупатели.

На базаре он встретил Настюшу, волоокую и златокудрую осьмнадцатилетную прелестницу, засидевшуюся в девках. Грек с радостью согласился на потрепанный сундук с приданым и увез ее из отчего дома.

Богата была семья смехом и любовью, да скудна золотом. За пятнадцать лет брака появились на свет десять детей. Глафира была единственной дочкой. Двое старших братьев помогали отцу в мастерской, а Глафира вместе с матерью нянчила младших.

Дионисий, человек образованный, пытался передать грамоту и мудрость детям своим, настойчиво учил их читать, писать, считать, рассказывал легенды родной страны, пересказывал Библию, пугал рассказами о коварстве, кровосмесительстве, убийствах и грехах людских. Братья откровенно скучали. Их совсем не интересовало прошлое Греции и Руси – поспать да поесть, вот и вся забота. Только Глаша и младший Иван с горящими глазами слушали о Зевсе, Артемиде, о Еве и Адаме, о Колхиде и Геракле и задавали отцу тысячи вопросов.

Дионисий по случаю собирал книги, рукописи, хранил их с благоговением. Было это делом затратным, сложным, но он по-другому не мог. Иконы приносили небольшой, но исправный доход. После особо крупных заказов грек мог позволить себе баловство. Купив очередной талмуд, он долго гладил его по тисненому кожаному переплету, нюхал страницы, разглядывал причудливые буквицы и миниатюры и переставал замечать всех и вся вокруг.

Из всех детей Дионисия Глафира одна и русской, и греческой грамоте научилась, запоем прочитала все отцовские книги. Одна из них стала ее любимой – русский лечебник «Вертоград лечебный», где собраны были травы, которыми можно было вылечить любую хворь. Автор его,

неведомый книжник, собрал все лечебные снадобья греческих, арабских, латинских авторов, добавив исконно русские травные сборы, и книги этой не было равных в Московии[18].

– Есть у тебя, дочка, склонность к ле́карству. В тех местах, где я родился, рассказывали, что латиняне[19] жгли людей на кострах за колдовство и врачевание. Особенно люди любят жечь красивых и молодых травниц, – предостерегал Дионисий.

Глаша делала мази на детские ссадины и ожоги, отвары от кашля и лихорадки. Соседи прознали о юной ворожее, шептались, что дьявол даровал знание, но часто просили помощи. И всегда ее получали.

Грек жену свою любил и очень горевал, когда она умерла, не дожив и до сорока лет, не дорастив младших детишек. Сколько Глаша ни потчевала мать рецептами лечебными, ни бегала по лесам за травами, мать кашляла и становилась все тоньше. Следом за ней заболел младший Ванька и сгорел за месяц.

Так Глафира потеряла мать и любимого брата, долго горевала, в монастырь хотела уйти. Отец отговорил:

– Посмотри, какая ты справная девка. Идти в невесты Христовы – это навсегда. Тебе мужа любить да детей рожать надо.

Глафира не нашла ничего лучше, как выскочить замуж за лихого казачка по прозвищу Верещалка, высокого, с громким голосом и пагубным даром пропивать все жалование.

Долго скитались они по земле русской. Осели сначала в Устюге, а потом и в деревне Еловой.

Глафира так и не смогла родить, грешила на себя. По слухам, от мужа с полдюжины детей народилось у гулящих баб. Весь жар своего сердца Глафира отдавала врачеванию. Верещалка успокоился, завел хозяйство. Жить бы и радоваться, но вскоре он умер. Глафира опять оказалась, как много лет назад, беспомощной перед страшным недугом, сжигавшим внутренности любимого и беспутного мужа.

Теперь жила Гречанка тихо и одиноко в избе на самом отшибе Еловой. Не было дня, чтобы какая из женщин, воровато оглядываясь, не пробиралась по тропке к покосившейся избушке.

* * *

Щеки Аксиньи пылали шиповником, когда прибежала она к бабе Глаше.

– Рассказывай, молодая-красивая, что нового?

Аксинья щебетала. Сарафан вышивать хочется новым, диковинным узором с жар-птицами. Отец с Федором затеяли кувшины с росписью делать. Цыплята разболелись, зерно клевать отказываются.

– Совета просит твоего мать. Что делать? Каким отваром их поить?

Про Ульянку рассказала, с ее мечтаньями о кузнеце.

– Оксюшка, ты сама не своя… Бурлишь, как старое пиво… Случилось что?

– Все ладно у меня, бабушка.

– Мне не ври. Я тебя вижу насквозь, девонька.

– Обидно мне, баба Глаша. Ульянка по Лешке сохла. Теперь кузнец у нее. Горит все, кипит. А я… Жизнь так и пройдет…

---

[18] Долгое время считалось, что переводов иноземных лечебников на русский язык не существовало, но в конце 1970-х гг. советские ученые ввели в оборот древнейшие лечебники. Описание лечебника, целебных средств основано на реальных исторических данных.

[19] *Латиняне* – католики.

– Как пройдет-то? – не сдержала улыбки знахарка. – Много у тебя еще денёчков, хороших и плохих. И ты будешь и гореть, и тухнуть. Поверь мне.

– Не буду, – упрямо возражала девчушка. – Давай лучше помогу избу убрать.

Поговорила Аксинья с Глафирой, подмела полы старой метлой, полистала травник ее, единственное, что осталось Глафире от отца. Красиво, замысловато выписанные буковки, рисунки с переплетеньем трав и цветов, запах старой книги всегда умиротворяли девушку, но сегодня ей не было покоя. Чувствуя ее тревогу, на колени девушки забрался черный Плут и ластился, мурчал. Показывал своим видом: какие у тебя заботы, когда я с тобой?

* * *

Возвращалась Аксинья по темным улицам, сладко пахло весной, чирикали пташки на деревьях о делах своих птичьих, людям не понятным, а в доме Вороновых царила суматоха.

– Где ж ты ходишь, свербигузка[20]! Тут с ног сбиваемся, а она шастает! Пироги с печи вытаскивай, да живо! – возмущалась мать, а Ульянка пронеслась мимо подружки с охапкой утирок-полотенец.

– Не соскучилась Аксиньюшка по сестренке своей старшей, – ехидно улыбалась Василиса. – Не торопится, делами колдовскими занимается.

Всем своим многочисленным семейством, с мужем, дородным и важным купцом Митрофаном, с тремя детишками, приехала Василиса в гости к родичам. Спозаранку Митрофан отправился с тестем в город решать важные купеческие дела: заключить договор с солекамскими купцами о закупке соли – важнейшего средства заготовки, о продаже говядины с устюжских мясобоен.

[20] *Свербигузка* – непоседливая девушка.

4. Секреты

День-деньской приходилось Аксинье слушать рассказы старшей сестрицы о житье сладком, о хоромах каменных, об уважении, заслуженном Митрофаном.

Старшая дочь София, которую родители кликали Любавой, ровесница Аксиньи, казалась спокойной ладной девушкой, совсем не похожей на говорливую, нахальную мать. Любава сторонилась всех, безропотно выполняла все просьбы и поручения Василисы, тихо отвечала на вопросы и все сидела за шитьем.

– Красиво вышиваешь. Цветы как на лесной лужайке, – любовалась Аксинья. Любава подняла безучастные прозрачные глаза и ничего не ответила. Для Аксиньи было чудно, что этой взрослой девушке она приходится тетей. Как ни пыталась она поболтать с Любавой, так ничего и не вышло.

Сын Василисы Давыдка, помладше Аксиньи на пяток лет, натурой отличался пакостной – умудрился подпалить щетину одному из поросят, напугал до смерти доброго пса Черныша, получил по заднице и шнырял по двору, задумывая новые каверзы. Самый младший только орал и пялил свои глазенки на все новое, интересное. Полюбились ему жемчужные бусы Аксиньи. Успокаивался парнишка, лишь когда она брала его на руки и начинала петь про кота-баюна.

– Дома девка мне помогает за детьми смотреть. Тут ты, Аксинька, сгодилась. – Василиса не слишком беспокоилась о своих детишках. Она успела обойти всю деревню, погостевать у подружек детства. – Хоть какой-то от тебя толк, а то, поди, целыми днями лясы с Ульянкой точишь.

От несправедливых обвинений сестры у Аксиньи в горле перехватывало. Она пыталась возражать, кулаки сами собой сжимались от злости. Анна не давала разгореться скандалу, пресекала Василису, успокаивала Аксинью. Мира в избе не было.

Аксинья только и пыталась найти подходящий момент и убежать к бабе Глаше. Лишь там можно было перевести дух, не ощущая на себе неприязненный взгляд старшей сестры.

Рыжик нашла с Василиской общий язык. Они вечерами часто болтали, пряли, выбирали узоры для рушников, наглядеться не могли друг на друга.

– То ли дело, девка приятная. Не то что ты, Аксинька, – вздыхала Василиса. – Иди-ка, сестричка, курицу слови, похлебку готовить будем. – Она будто не выносила вида сидящей Аксиньи и тотчас придумывала ей дело. Свою дочь она и не трогала, иногда подходила, гладила мимоходом по плечу и что-то шептала на ухо.

Аксинья видела на солекамском базаре чудные кувшины, тонкостенные, хрупкие. Купцы привозили их издалека, стоили те кувшины баснословных денег. Василий вздыхал, разглядывал заморское диво, боялся его трогать руками, но ничего похожего сам сделать не мог. Когда Оксюша смотрела на Любаву, вспоминала хрупкость этих кувшинов, их странную прелесть. Тонкая кожа, светло-серые отстраненные глаза, длинные пальцы и мягкая поступь, молчание и испуг во взгляде. «Ты ж моя малахольная», – называла Любаву мать.

Наконец-то все сделки были заключены. Митрофан с Василисой и детьми отбыли восвояси. Вороновы облегченно перевели дух. Одна Ульянка ходила вечерами как неприкаянная, скучала по старшей подруге.

– И что ж вы там так упоенно обсуждали? – недоумевала Аксинья, которая и парой добрых слов с сестрой не перекинулась.

– Я совета у нее спрашивала, – улыбалась Ульянка.

– Какого, интересно?

– Да ничего особого…

– Рассказывай давай. Обижусь на тебя. И так про меня забыла, кикимора ты болотная, – подначивала подругу Аксинья.

Та отвернулась и сморщила конопатый нос. Глядя на покрасневшую, надутую подругу, залилась колокольчиком Оксюша. Ульянка держалась, лелеяла обиду, но скоро не выдержала, подхватила смех.

– Спрашивала я у сестрицы твоей, как мужику понравиться. Она ж хороша, как лягушка, а замуж вышла удачно. И муж ее, видно, уважает.

– И как же?

– Говорила, что рукодельницей надо быть хорошей, богобоязненной, тихой. На парней не пялиться. Громко не говорить. – Ульянка вздохнула.

– Совсем не про тебя.

– Тяжело советы сестры твоей выполнять… Да придется. Вековушей быть не хочу.

– Слушай ее больше. Никто замуж брать не хотел Василиску. Страшная, кислая, нудная. Родители меж собой говорили, вспоминали… Я слышала… Не думаю я, что была она такой скромницей.

– Не была, правда. Хотела она научить меня на своём опыте, свои ошибки показать. Так она говорила… Залившись медовухой, такое мне рассказала! Ты-то, Аксинья, знаешь, как слюбилась Василиса с толстопузым? – подмигнула лукаво Рыжик.

– Не знаю, даже представить не могу!

– Слушай! – Ульянкин голос звенел от восторга.

Никому богатая купчиха не открывала свои секреты. Ласковая проныра Ульянка и крепкая настойка развязали язык строгой, подозрительный Василисы.

Василиса

С древних пор бытовало поверье: если ребенок болезненный, раньше сроку родился, надо имя его настоящее не говорить вслух. Так нечисть не заберет его с собой.

Василиса, родившаяся на два месяца раньше положенного срока, маленькая, похожая на мышонка, стала Урюпкой. Неблагозвучное прозвище цеплялось к плаксам и неряхам. Орала она, не замолкая. Видя родителей, не гулила радостно, а хмурила редкие брови и ревела.

С годами Василиса, названная в честь отца, выправилась. Ушла синюшность, щечки стали округляться. Нрав так и остался вздорным и крикливым. Подрастая, она слышала от родителей только окрики, получала оплеухи. «Почто не любят?» – обижалась она. У матери всегда на подхвате, за младшими братьями ходила, в огороде да доме первая помощница.

Нескладная, с маленькими, всегда красноватыми глазами и ноздреватым носом, без той девичьей стати, что привлекает взгляд, Василиса росла в ежедневных трудах и зависти к младшим, красивым и любимым детям.

Пятнадцатилетняя Василиса взгляд мужской не привлекала. Однажды она подслушала разговор родителей:

– Как Урюпкой была, так и осталась, что с ней делать, ума не приложу, – вздыхала мать. – Жениха ни одного не видать. Может ты, Вася, с кем побалакаешь?

– Да с кем? Неведомо, – вздыхал отец. – Приданого скоплено немного. Статью не вышла наша старшенькая. За Нюркой женихи выстроятся в ряд, а тут…

Стрыя[21] Варвара, старая и богатая, заболела. Она вдовела уже десятый год, жила в богатом доме в Великом Устюге, детей не родила и вспомнила о младшем брате только на пороге смерти. Богатая тетка отправила подводу за родственниками, чтобы попрощаться. Родители послали лишь Василису, рассудив, что тетка и ей будет рада.

[21] *Стрыя* – тетка по отцу

Варвара встретила племянницу хлебом-солью. От радости у нее даже хвороба прошла. Девушка не раз в церкви возносила благодарности святой Варваре за ее заступничество и покровительство, приведшие ее в Великий Устюг. Расположенный на важнейших торговых путях, город был сосредоточием деловой жизни Русского Севера. Белокаменные церкви, узоры деревянных усадеб, особый дух богатого города нравились Василисе. В сравнении с ним и Соль Каменная, и тем паче родная деревушка казались убогими.

Тетка любила проехаться по красивым улицам Устюга со всем размахом, зайти в гости, покрасоваться. Васю она везде таскала с собой, денег на нее не жалела. Нашили ей рубах новых, шелковых, справили шубу с лисой, кокошники жемчужные. Первый раз в жизни Василиса почувствовала себе счастливой. Она стала краше, выпрямилась спина. Богатые теткины харчи прибавили мяса в тех местах, где положено. Из глаз исчезло затравленное выражение.

Отъезд все откладывался и откладывался, хоть тетка выздоровела. Заприметив, что при разговоре о возвращении домой глаза племянницы подергиваются влагой, Варвара отправила со знакомыми купцами послание брату. Тетка без племянницы никак обойтись не может, и в благодарность за ее заботы без хорошего приданого Василиса не останется.

И потекли размеренные, радостные дни – прогулки по городу, хозяйственные заботы, ежевечерние беседы. Тетка была мастерица в вышивке, ткала красивые, узорчатые ткани, но Василисе, как ни старалась она, мастерство это не давалось.

– Жениха приискали тебе, краса моя?

– Какие женихи? Родители уверены… Вековушей[22] я останусь.

– Да не плачь ты. Что мокроту разводить? Помогу тебе, Васёнка. Зря, что ли, тетка у тебя многоумная?

А Вася только еще больше расплакалась.

– Найдем жениха, еще все завидовать станут. – Варвара прикидывала, за кого из устюжских женихов выдать Василису так, чтобы и родителей его облагодетельствовать, и Варвара внакладе не осталась.

На другой стороне улицы, напротив дома Варвары, располагался основательный, уже почерневший от времени дом Чиркова, знаменитого на весь Устюг мастера басманного дела[23]. Своих сыновей у него не было, а секреты ремесла передавал он двум ученикам, жившим здесь же, при доме.

Шинора[24], как прозвали его еще в детстве, был у Чиркова на особом счету. Дальний родич, юркий, хитрый, он умел подольститься, никогда не дерзил раздражительному ювелиру. Шинора овладел басманным мастерством, руки его творили красоту. Но больше парню по душе были забавы, чем утомительная возня с побрякушками.

Василиса подметала крыльцо, вытрясала цветные половички. Стрыя не любила бездельников, и племянница трудилась не покладая рук, чтобы не разочаровать ее. Фигурка в льняном сарафане привлекла взгляд Шиноры.

Женских прелестей он к своим двадцати годам изведал немало. Шестнадцатилетнего парня старшие друзья притащили в избу, хозяйка которой славилась сладкими услугами. Став мужчиной, Шинора очень возгордился собой и неуемно искал приключений.

Чирков ворчал, что давно пора парню остепениться, но Шинора обзаводиться крикливой бабой и голосящими отпрысками не спешил.

– Здравствуй, девица, как звать тебя? – немало не смущаясь, заорал парень Василисе.

Щеки жарко заалели, дыхание перехватило. Она в испуге заскочила домой. «Красотой не блещет. Но что-то в ней есть. Созрела ягодка», – решил парень.

---

[22] *Вековуша* – старая дева.

[23] *Мастер басманного дела* – ювелир.

[24] *Шинора* – проныра.

С тех пор Шинора пользовался каждой возможностью, чтобы поздороваться с девушкой. Поначалу робевшая, Вася все смелее отвечала на вопросы и ухаживания нахального парня. То леденец на палочке, то красные бусы, то букет ромашек. Вечерами они катались на лодке, любуясь живописными берегами речки Сухоны. А однажды он подарил ей серьги собственной работы – знаменитую устюжскую финифть, где птицы и цветы, выполненные красной и синей эмалью, переплетались, будто в райских кущах.

– Примерь их, Василиса. Ай красота!

– Спасибо, никогда у меня таких не было, – благодарно прошептала Василиса. И серебряных птиц с той поры из ушей не вытаскивала.

Тетка заметила интерес соседа к Василисе и втихомолку стала готовиться к свадьбе.

– Серьги-то хороши, но ты поосторожнее будь! Мужик он опасный зверь, хитрый и ловкий. Надо его словить в капкан да в церковь отвести. Тогда можно и расслабиться.

На Ивана Купалу Шинора подкараулил Василису, схватил за руку и потащил за собой:

– Айда, интересное покажу. Тебе понравится, голуба моя.

Посадил он девушку перед собой на коня, ничего не объясняя, помчался в летнюю ночь. Еле дышала Василиса, всем телом ощущая худое, жилистое тело парня. Сладко ныло сердце, испуг сковывал дыхание.

Долго продолжалась ночная скачка. Вдруг Василиса услышала отдаленный гул. Сверху низвергались струи воды, распадаясь на мириады брызг. Светлая летняя ночь не скрывала красоты падающих струй воды, выбивших в камне ложе для своей причудливой игры. Поток с грохотом падал на землю и, пенясь и веселясь неуживчивыми порогами, продолжал свой бег, ускользал далеко в лес.

– Это Васькин ключ, слышишь, как гремит. Знаешь, как он появился?

– Нет. Расскажи.

– Черт по имени Васька влюбился в красавицу устюжанку, – Шинора приобнял за плечи девушку, – привез ее сюда за срамным делом, а она отказалась и сбросилась с утеса. Со злости черт расколол утес, из которого забил ключ. Вот так-то, Василиса.

Они смотрели, как с утеса падает вода, в лунном свете она казалась бесовской, заколдованной. Блеск в глазах парня испугал Василису, отодвинулась она от него подальше.

– А ты, голубушка, будешь с утеса прыгать?

– Нет, – еле слышно прошептала девушка.

– Вот и правильно…И я на черта не похож.

Шинора помог ей спуститься с утеса, ласково придерживал за талию. У ложа, что водопад за сотни лет пробил в камне, парень остановился. Васькиному ключу не было дела до молодых любовников, что вознамерились на Ивана Купалу совершить грех.

– Не стой истуканом. – Шинора положил кафтан на траву и увлек Василису на землю. Травы пахли терпко и сладко, кружа до одури голову. Долго, до упоения целовал он ее губы, не ведавшие мужского поцелуя, расплел косу и жадно вдыхал ее запах.

– Первая ты у меня такая…

– Какая?

– Хорошая, непорченая девка.

– Да что ты говоришь такое, – в слезах стала вырываться Василиса, разнежившаяся под шальными поцелуями.

– Поздно… Поздно вырываться, – шептал парень и лихорадочно срывал сарафан с Василисы.

Громкий девичий крик слышали только сосновый бор да водопад. Недолго терзал Шинора девичье тело, быстро насытив свою мужскую жажду, заснул, а зареванная Василиса отправилась смывать кровь и семя в ледяной воде.

Пытаясь унять дрожь, натянула на себя одежку. Без красоты и большого приданого одно богатство было у Василисы – девичья честь – и ту украл злодей. Вскоре Шинора проснулся, потянул руки к Василисе:

– Не соскучилась, краса моя, иди-ка сюда.

– Домой пора, тетка скоро хватится.

– Пора так пора, – зевнул парень.

Вернувшись домой перед рассветом, девка на цыпочках пробралась в свою горницу. Тетка, проснувшись, услышала ее тихие шаги и улыбнулась, вспомнив свои игрища на Ивана Купала.

– Хорошо праздник справила, повеселилась, Васёна?

– Хорошо, тетушка, – замороженным голосом отвечала племянница. Внутри нее сжимался комок, когда она представляла, к чему могут привести ее игрища.

С трепетом ждала она сватов Митрофана. Лишь так могла закончиться их ночь на Васькином ключе. Сватов от Шиноры не дождалась, не видела Василиса и самого парня. Осмелилась, спросила у Чиркова, почему не видно сродственника.

– К отцу поехал подсобить. А ты чтой-то интересуешься?

– Да так, – в испуге Василиса убежала.

Потекли тягостные дни, с каждым из которых ускользала надежда на то, что все обойдется. Просторные рубахи и сарафаны скрывали изменившиеся очертания тела. Но в бане, куда девушка ходила вместе с теткой, спрятаться было нельзя. Несколько раз Василиса отговаривалась то недомоганием, то делами. Ходила в баню отдельно от Варвары. Но настал момент, когда тетка увидела округлившийся живот.

– Булок много ела, а, девка? Или что другое? – обманчиво мягко спросила она.

– Другое.

Рассказала ей все Василиса, не таясь, глотая злые слезы.

– Вот паразитка, – сухой крупной рукой тетка залепила ей такую затрещину, что девушка отлетела к печке. – Что отцу твоему скажу, а? Девка непотребная! Блудница вавилонская! Что делать-то с тобой?

Скорчившись в углу, зажав руками живот, Василиса рыдала и готовилась к новым оплеухам и издевкам. Заслужила.

– Ладно, придумаем мы что-нибудь. Паршивка ты! Испортила все, я тебе такого жениха присмотрела! Вдовый купец, богач, постарше тебя. Дурья башка! – вздыхала тетка. Она выпустила пар и думала, чем помочь девке.

О былой свободе девушке оставалось только мечтать. Теперь из дому она не выходила. Отчаяние полыхало в глазах Василисы, все время она проводила за шитьем в своей комнате.

Однажды услышав оживленные голоса внизу, Василиса стала прислушиваться и поняла, что о разговор идет с соседом-ювелиром.

– Одевайся-ка, покажись сватам, – ехидно блестя глазами, сказала девка, прислуживавшая тетке. Она всё знала о Василисиных злоключениях.

Пришлось надевать нарядный сарафан с жемчужной вышивкой – подарок тетки, венец с каменьями. Не был виден живот в широких нарядных одеждах. В глазах Василисиных читалась жгучая ненависть.

– Вот, наш товар, – запела тетка. – Где ваш купец?

Долго разговор шел между сватами и теткой. Девушка будто оглохла, ничего не слышала.

– Венчают вас в эту субботу, чтоб грех поскорее скрыть, – усмехнулась тетка.

– А как?.. Он сам?

– Аж из портков выпрыгивал! Размечталась! Пришлось мне родичу его пригрозить позором да за Шиноркой верных людей отправить. Хотел он отсидеться в деревне родной. Тебя

обрюхатил – и в кусты, козел, охальник этакий! И что ж ты, чем напугала мужика? Несладка оказалась, – ухмылялась тетка.

Василиса благодарна была Варваре. Но хотелось своими руками стереть ухмылку с ее узкого лица.

– Не люб он мне. Ненавижу его.

– Ты смотри, не гневи Бога. Живи и радуйся. Хорошей женой будешь, и заживете не хуже других.

Во время венчания в церкви Вознесения, свадебного застолья жених не смотрел на свою бледную невесту. Отгуляли честь по чести, Варвара расстаралась для любимой племянницы. А в первую брачную ночь новоиспеченный муж налил медовухи и себе, и жене своей.

– На кой черт ты здесь появилась, дурында? – с тоской сказал он. – Жил бы я себе, не тужил.

– Зачем ты возил меня на Васькин ключ? Зачем чести лишил?

– Да не знаю. Захотелось мне попробовать тебя. А что потом будет, не думал, – задумчиво сказал парень. – Могла бы уехать в родную деревню… Или утопиться, чертова ты девка.

– Жизнь свела нас, Шинора. Но запомни: не будет того момента, когда бы я тебя не проклинала, – тихо сказала Василиса.

– Зови-ка меня не по прозванию, а по имени моему церковному. Ишь ты, распустилась! Да хоть засыпь проклятиями своими, все, не воротишь ничего, – пьяненько ухмылялся парень, выпивший не первый стакан крепкой медовухи. – Давай, женушка, ублажай муженька.

– А вот это не хочешь, – показала фигу молодая жена.

Шинора оторопело посмотрел на невесту, которая и так красавицей не была, а от нежданного бремени растеряла последнюю девичью прелесть. Лицо стало одутловатым, будто у пропойцы, волосы растрепались, глаза казались маленькими и воспаленными.

Молодые утром перебрались в дом Чиркова. Родители вскоре узнали, что Василиса замужем, облегченно вздохнули и лишь изредка передавали гостинцы.

Василиса в великих муках родила мертвого мальчика, и не было у нее сил плакать над своей судьбой. Сухими глазами она смотрела в потолок. Неделю с постели не вставала, потом захлопотала по хозяйству. Муж в глубине души проклинал судьбу – свободу холостяцкую потерял навсегда. Вида он не подавал, стискивал зубы, утешал молодую жену. Делал он это с нужным пылом, через год Василиса забеременела, родила дочку. С младенцем на руках ей пришлось ухаживать за серьезно заболевшей теткой.

После смерти Варвары молодая семья Селезневых переехала в теткин дом, унаследованный Василисой. И дело тетки, ее немаленький капитал также перешли их семье. Шинора рассудил, что купеческое дело дает больший барыш, чем ювелирное мастерство.

С каждым годом Шинора становился все солиднее. Уходила юношеская худоба и вертkость, и прозвище теперь не подходило крепкому, уважаемому купцу. Теперь звали его все чаще Митрофаном, а то и Митрофаном Селезневым, Тимофеевым сыном.

С Василисой он всегда советовался, уважал ее. Но ночами бегал к непотребным девкам. Жена давно не привечала его на супружеском ложе. Она располнела, приобрела мягкость тела, но душа ее закалилась и стала тверже железа. Василиса имела свое мнение по любому поводу, была безжалостна и остра на язык. От робкой, нелюбимой дочки Вороновых следа не осталось. Благодаря деловому таланту мужа она могла жить на широкую ногу, покупать собольи шубы и занимать лучшие места в церкви.

И хорошо бы жили Селезневы, если бы не память о прошлом, подтачивающая их семью изнутри.

* * *

– Эх, Ульянка, никогда не узнала бы я Василисины секреты. И родители… Ух! Она такая важная сейчас. Была совсем другой!

– И еще по поводу мужчин Василиса говорила, что для бабы все эта ночная пакость в тягость, и советовала не торопиться. Но у меня с Григорием все по-другому будет. Не как у нее с Митрофаном.

– Дура ты, у всех так, – фыркнула Аксинья.

– Много ты знаешь!

В тот вечер девчушки пошли на вечерние посиделки, каждая со своей затаенной надеждой. Весь вечер они вздрагивали от каждого стука щелястой двери. Девки пели песни, лузгали орехи, делились сплетнями. Когда месяц выполз на небесный простор, в избу ввалились парни. Они орали дурными голосами, Игнат терзал балалайку и тряс чубом.

Девки принялись выталкивать взашей охмелевших парней, когда раздался залихватский свист. Александровские пронеслись мимо крыльца Марфиной избы. Хлопцы с соседнего села считали еловских девиц милее своих. Не было злее драк, чем стычки между еловскими и александровскими. И не было для парня с соседнего села дела занятнее, чем отбить невесту у еловского.

Нюру, старшую сестру Аксиньи, когда-то прочили за своего, еловского, парня. На одной из посиделок длинные руки Ваньки Репея, александровского баламута, схватили ее за подол. Отцепить его она так и не смогла. Ванька наслушался много ядовитых слов от Вороновых, Василий и Анна не могли смириться с тем, что средняя дочь сама выбрала жениха. Впрочем, зажиточная семья Репея приняла Нюру в свой огромный дом, и Василий Ворон был доволен, хотя вида не показывал. Даже внуки-репейники его не смутили.

Четверо александровских парней развязно зашли в избу, подмигнули Марфе, обступили девок. Игнат, Семен и Фадейка дружелюбно протянули им чарки, ухмыляясь в усы.

Не успела Аксинья и глазом моргнуть, как трое александровских уже катились кубарем с крыльца. Четвертый, лопоухий, хорошо одетый, очумело моргал белесыми ресницами. Две половинки его верхней губы жалобно шлепали.

– Да вы чего… Мы ж с миром, – невнятно бормотал парень, его уродливая губа коверкала речь, превращала ее в непонятную мешанину слов.

– Иди, Зайчишка, восвояси, – потер кулаки Семен. Тот не заставил себя долго ждать, только мелькнули грязные подошвы сапог.

* * *

На Матренин день[25]в разгар Великого поста приехал отец Ульянки, Лукьян. Здоровый, основательный, громкоголосый, с маленькими прищуренными глазами и рыжей лохматой бородой, он заполнял собой всю избу. Дочка суетилась, то принималась хлопотать по хозяйству, то садилась напротив отца.

– Глянь, дочка, гостинец тебе! – Лукьян вытащил из холщового мешка сверток. Внезапно куль фыркнул, издал чудной низкий звук… Кто-то юркий побежал за печку. Ульянка взвизгнула и запрыгнула с ногами на лавку.

– Что там?

[25] *Матренин день*, день Матроны Солунской – 27 марта по старому стилю.

– Щенок соболя. Злой, зараза. Мать в капкан попала, а он рядом крутился. Так и взял. Еле скрутил, вырывался, как чертенок. Поиграешь с ним дочка, а там решим, что делать со зверёнышем.

«Соболей бы на шапку, ожерелье из серебра или платки китайские. А не щенка. На кой он мне?» – подумала, но промолчала.

– Он не укусит?

– Кто ж его знает… Ты на стол-то накрывай. – Лукьян развалился на лавке, почесывая тугое пузо. – Ты все хорошеешь да хорошеешь. Жениха-то себе приискала?

Ульяна открыла рот, но не сказала ни слова, лишь помотала головой и вздохнула.

– Нет? Вот и славно. Надо тебе в городе жениха брать. Чтоб к следующей зиме уже у меня на шее не висела, мужняя была.

– В город не хочу. Тут привыкла – Она загрохотала котелками громче, чем следовало.

– Как привыкла, так и отвыкнешь. Кто тебя, дуру, спрашивать будет. А каша-то чего постная? – повысил голос Лукьян. – Масла добавь.

– Нельзя ведь… Грех.

– Молчи, мокрохвостка. Уморить меня собралась?

Ульяна с отцом спорить не стала – себе дороже, можно под горячую руку и схлопотать. Из-за печки на громко чавкающего Лукьяна и пригорюнившуюся дочка смотрел соболек, сверкая глазами-бусинами.

Давно уже, лет десять назад Лукьян Пырьев остался вдовцом. Молодая жена Дарья таскала воду и провалилась под весенний лед. Увидели беду еловчане, но было уже поздно. Даже похоронить жену Лукьяну не удалось – осталась она на съедение рыбам в речке. Лукьян Кабан был из той породы мужчин, что многочисленна на Урале и Сибири. Вся жизнь их проходит в скитаниях по тайге, в охоте за пушным зверем, и дом для них не долгожданный очаг, а ловушка.

В Еловой Лукьян задерживался на неделю-две, а потом начинал тосковать и пить. Кабаном прозвали мужика не просто так – выпив, он становился свиреп и опасен. Как дикий вепрь. Стоило слово поперек сказать – не жалел никого, даже жену. Дарья смотрела-смотрела, льнула к мужу:

– Сколь волка ни корми – все в лес смотрит. Иди в тайгу свою ненаглядную, Лукьян, о нас не беспокойся.

Осиротевшая дочь воспитывалась у бабки, матери Лукьяна. Ульяна ее побаивалась и не любила, тоскуя по тускневшему с каждым годом образу ласковой матери. Когда бабка умерла, Лукьян ломал голову – с кем дочку оставить. Вороновы прикипели сердцем к Ульяне на радость шалопутному отцу.

– Пора, дочка, к соседям наведаться, поблагодарить их за присмотр, за помощь.

– Я думала, мы дома побудем, расскажешь…

Лукьян не любил долго с бабами находиться. Что делать с выросшей дочкой – вовсе не понимал. Голова всякой дурью забита.

Славно в тот вечер посидели мужики, вытащив из погреба крепкую настойку. Анна пыталась воспрепятствовать святотатству, но ее отправили в светелку, подальше от соленых мужских слов. Все постные яства, заготовленные Анной на завтрашний день, были съедены. Мужики пьют, погреба пустеют. Лукьян благодарил Василия от чистого сердца и подарил связку куниц:

– Жене иль дочери – сами, промеж себя решайте. Я тебе лучшие шкурки выбрал, друг.

Лукьян, шатаясь из стороны в сторону и распевая матершинные песни, еле дошел до избы, опираясь на дочь. Несколько дней он пил в родной деревне и отправился восвояси… В лес ли, в городской ли кабак прогуливать копейки, дочь не знала.

* * *

– Ульян, ты подарок-то отцовский покажи.

– Вон сидит. Зыркает, – Рыжик неохотно махнула рукой. За печкой уже вторую неделю ютился соболь.

– Ты его кормишь?

– Еще чего. Пусть тараканов да сверчков ловит.

– Жалко же. Зверь лесной, иди сюда. – За печкой раздавалось шебуршание, но соболек выходить не спешил. – А я его хлебной корочкой приманю.

– Нужен он тебе, Аксинья. – Ульяна только голову успела повернуть вслед взметнувшемуся подолу подружки.

Исхудалый зверек остервенело ел ржаную корку, даже не замечая уставившихся на него девчушек.

– Даром, что зверь, а хлеб тоже любит. Красавец, – восхищенно протянула Аксинья и успела погладить пушистый бок щенка. Тот недовольно фыркнул, но от еды не оторвался.

Ульяна с опаской протянула руку к зверенышу:

– Хоть почесать тебя за ухом. Какой-то толк от подарка должен быть.

Через минуту раздался визг, на белом пальце выступили красные пятна. Соболь скрылся в своем убежище.

– Ну стервец! Пожалеешь еще!..

– Ты отдай мне его, а, Рыжик. Он же не нужен тебе. А я люблю зверье лесное.

– Нет, в моей избе жить будет. Батин подарок, – отрезала подружка.

5. Медуница

Весна в Еловой вступала в свои права. Звенели ручьи, веселой змейкой стекая в Усолку, освободившуюся от ледяного панциря. А Усолка несла вешние взбаламученные воды в широкую Каму. Кама питала широкую матушку-Волгу. Так воды малого ручейка текли по просторам земли русской до самой Первопрестольной Москвы.

Зазеленела трава, и радостью наполнились людские сердца, заскорузлые за долгую холодную зиму. Прилетели цапли и, соблюдая традицию, свили гнездо на засохшем дереве у берега Усолки. Неглубокая живописная заводь, полная рыбы и лягушек, давала им пищу.

Аксинья стремилась в эту благословенную заводь. Она готова была целую версту[26] отмахать, чтобы оказаться на берегу в одиночестве. Бесконечно смотрела на Усолку, суету птиц, порхание бабочек. Не было для Аксиньи большей радости, если лань или лиса робко показывались из-за деревьев.

Ульяне привычка подруги не нравилась.

– Что забыла там? Пошли с девками песни петь. А там глядишь и парни какие придут… О-о-ох. – Ульянкина грудь вздымалась, глаза блестели.

– Кровушка дурная в тебе бродит, – дурашливо протянула Оксюша, изобразив ворчание бабки Матрены – первой грозы деревенских блудниц. – С парнями своими покоя лишилась. Надоела хуже мух! После рассказа Василисы ни о чем другом думать не можешь. Надо бате твоему говорить, чтобы скорее замуж тебя пристраивал.

– Ага, он раньше себя в мужья пристроит.

– Как?!

– А так вот. Какая-то в Соли завелась зазноба у него. Фроська-вдова. Толком не говорит, скрывает. А я сама догадалась.

– Как поняла?

– Сама видела: довольный стал, обихоженный, на одежде заплатки, рубахи стираные. Да про Фроську какую-то поминает.

– А не стар он для таких дел?

– Не знаю. Им виднее. Так что, подруга моя, как бы в Соль Каменную мне не отправиться. Там батя обещал жениха найти.

– Я без тебя тут заскучаю. Зачем тебе в город переезжать, Ульян? У нас хорошо, вольготно. – Аксинья представила жизнь без подруги, тоскливую, как проповедь.

– Да батя грозится совсем переехать, избенку отдать переселенцам.

– А как же… кузнец?

– А что кузнец… На посиделки наши не ходит, даже не смотрит. Что мне делать? В городе, небось, жениха краше да богаче приищу.

– И то правда. Ты вон у нас телом богата. – Ульяна к этой весне расцвела. Грудь даже под сарафаном мягкой зыбью шла и глаза парней притягивала. Волосы в тугой косе медью отливали. Даже веснушки красили девку. Любовалась Аксинья на подругу и вздыхала про себя. Нет у нее груди пышной, волос рыжих, лба белоснежного.

– Нет, не смирюсь. Гришку хочу, мой он будет… Хоть тресни! – решительно встала с лавки Ульяна и загрохотала ведрами.

– Ладно, лясы поточили, пора и за работу.

Дров натаскать, воды принести, пирог замесить. Надо все успеть – родители в мастерской. Аксинья вздохнула. Ее туда не звали.

---

[26] *Верста* – 1066, 8 м.

Василий с Федором целыми днями пропадали в высоком, просторном сарае, где изготавливали крынки, чашки, миски, кружки, глиняные сковородки. В мастерской всегда было жарко, даже в студеную пору – от огромной печки.

Сердцем мастерской был гончарный круг, установленный посреди удобной скамьи. Василий одной рукой управлял кругом, другой формировал податливую глину. Крупные его руки двигались ловко, лепили кувшин или миску. Аксинья с удовольствием наблюдала за отцом. Еще в детстве попросила она разрешения сесть за гончарный круг. К ее огорчению, кринка вышла кособокая, совсем не похожая на стройные, тонкостенные изделия отца и брата. Отец утешал ее:

– Оксюша, это ж первый раз. Научишься еще, ежели есть охота. Работа упорных любит.

Сколько она не пробовала, ничего путного не выходило.

На еще не обсохших кувшинах острой палочкой выдавливались узоры. Анна украшала горшки, кринки, миски искусными узорами из линий, кружков, зубчиков и более затейливого орнамента.

После того как посуда обсыхала, ее помещали на верхний ярус печи для обжига. Жар от печи шел такой, будто «у чертей в аду», как любил, посмеиваясь, говорить Василий. Федя следил за печью, подбрасывал дрова.

Горшки, кринки, миски, глиняные сковороды Вороновых выгодно отличались от изделий других мастеров прочностью и красотой. Секрет Василий таил от всех: он нашел выше по течению Усолки место с особой глиной. Только на лодке можно было добраться туда, где пологий берег сменял невысокий обрыв, красно-коричневый от проступающей глины. Ракушки, собираемые ловким Федором, придавали материалу прочность. Аким Ерофеев перепродавал посуду с клеймом в виде ворона по хорошей цене, сбывая и в Соли Камской, и в Верхнечусовском городке.

– Федя, а Федя, где ты? – на зов Аксиньи никто не отозвался. – Да куда ж девался, с родителями, что ли, братец?

Хлопнула дверь, пройдя через просторные сени, вошли родители, оставив у входа обутки, покрытые весенней грязью.

– Федька с вами был?

– Нет, Аксиньюшка, он Марии помогает. У нее забор покосился, и крышу заливает.

– Зачастил он к Машке, – улыбнулась Аксинья.

– Что ты улыбаешься? – проворчал отец. – Надоела ваша Машка. Дома сын не бывает, все на соседку батрачит. Он мне в мастерской нужен был, а не дозовешься. Муж бы Машкин забором да крышей занимался.

– Вася, сам знаешь, муж у Марии на промысле постоянно. А как бабе жить без мужика? Трое девок по лавкам, ни сына, ни брата…

– Это не наша беда.

– Не убудет от Федьки. Маша ласковая, умеет с ним поговорить. Пусть парниша с людьми сходится, нельзя так жить, без людей. Не прокаженный он у нас.

– Ласковая… Анна, больше Федьку к соседке не пускать. Нам скоро в город ехать. А товару с гулькин нос. Ходим, дурью маемся, а не работаем.

На лице Василия было написано сильное раздражение, заставившее Анну тихим, успокаивающим голосом ответствовать:

– Конечно, отец. Как скажешь.

Еще долго Василий был не в духе, хмурил свои кустистые брови, сжимал крупные кулаки. Темные глаза метали молнии. Не смог бы Василий объяснить, почему же его сын не может помочь соседке. Мария женщина немолодая, уважительная, ничего она ему плохого не сделала. Но на душе у Василия было неспокойно. Облегченно вздохнул он только, когда Федя тенью скользнул к печке.

Все домочадцы были ниже травы, тише воды, опасаясь гнева отца семейства. Гороховая каша, крупные ломти ржаного ароматного хлеба, пироги с капустой поглощались семьей в непривычном молчании, и только благодарственная молитва Василия и чавканье нарушили тишину.

* * *

– Где мои ленты красные, нигде найти не могу? – кричала Ульяна, обшаривая все лавки и сундуки в доме Вороновых.

– Может, ты их в избе своей оставила? – вопрошала Аксинья.

– Да нет же, хорошо помню, я на сундук положила. Вот как косы заплетать?! – топала ногой Рыжик.

– Да дам я тебе свою ленту, не беда. У меня бусы жемчужные пропали, тятин подарок. Куда делись, не понимаю.

– Может, домовой утащил?

– Видно, кикиморе на подарок. – Аксинья сморщила хорошенький носик.

– Слышь, за печкой зашебуршилось… Они! – Ульянка погрозила подруге пальцем.

Вся суета была связана со сборами на субботние посиделки у Марфуши. Подружки хотели показать себя в лучшем виде. Стан Аксиньи мягко облегал синий сарафан с красной тесьмой, белая с красным нательная рубаха была искусно вышита самой владелицей, в косах сине-красные ленты, на шее коралловые бусы. Каштановые волосы оттенялись ободком из бежевой тисненой кожи. Фигура Ульяны была куда основательнее, белая рубаха и цветастая юбка не скрывали пышных форм. Посмотрев друг на друга, подруги запели:

– Ой, мы красные девицы! – И, взявшись за руки, закружились.

– Идите уже, много от вас шуму! – замахала руками Анна.

Они накинули вышитые душегреи и, радуясь предстоящим развлечениям, отправились на другой конец Еловой.

В избе Марфуши дым ел глаза. Закопченная крыша давила на голову, а белые рубахи на глазах темнели. Сама изба производила впечатление неряшливости и безалаберности.

Марфа, бабенка лет двадцати пяти, выглядела свежо и молодо. Губы сами собой складывались в озорную улыбку, глаза притягивали влажным блеском, разворот бедра ладно качался при ходьбе. Человек знающий сказал бы, что бабу одолевают бесы, что лезет греховная сущность ее на свет божий. Несколько лет назад схоронив мужа, бездетная и веселая, она стала центром притяжения для девок и парней деревни.

Родители ворчали, самые строгие не пускали к ней своих дочерей. Но через пару лет все были вынуждены признать, что ничего похабного у Марфуши не происходило.

Строгие родительницы приходили вместе со своим дочками, девками на выданье, – «от греха подальше». Польза от посиделок была налицо: не одна уже свадьба сыграна была после перешептываний в закопчённых углах Марфиной избы.

Появление подружек не прошло незамеченным. Навстречу им поднялась хозяйка избы. Дюжина девок и парней сидели по лавкам. Одна из девок хлопотала у стола, выставляя нехитрую снедь. В деревне так повелось, что на вечерки к Марфуше носили и медовуху, и пиво, и разносолы. В накладе после гуляний хитрая хозяйка не оставалась.

Аксинья перекинула косу через плечо, заправила за ухо выбившуюся прядь и подсела к шушукающим девкам. Вновь она чувствовала на себе неотрывный взгляд худого долговязого парня. Бровью повела бы – и сватов к родителям заслал. Она подавила вздох и ласково обняла Зоеньку. Русоволосая, румяная хохотушка, дочь Петра Осоки и Зои, для каждого находила медовое слово.

– Хорошеешь, подруженька, на глазах, – ласково пропела Зоя.

– Не льсти, голубка. Расскажи лучше, как дела твои.

Оксюша с Зоенькой болтали о девичьих пустяках, а рядом шумно вздыхала Агаша. Высокая, нескладная, она была тенью бойкой Зои. Мать родила ее в годах от престарелого мужа и теперь тянула дочь одна. Агафья, ширококостная, узкобедрая, с низким лбом, широким носом, создана была, казалось, для работы, а не для плясок и песен.

– Агаша, принеси нам яблочки моченые, – попросила Зоя.

Провожая взглядом широкую спину, обтянутую выцветшей телогреей, Аксинья протянула:

– Как прислужница она у тебя, Зоя. Не совестно?

– Чего совеститься? Я ей помогаю в бедах ее. И она…

Схватив маленькое, будто светящееся изнутри яблочко, Зоя разгрызла и поморщилась.

– Ни сладости, ни аромату.

– Ранетки это, деточки. Нет в них сладости. Дичка, – со знакомой ласковой улыбкой к столу подошла Зоя-старшая, называемая в деревне Гусыней. – В тех местах, где жила я в детстве, яблоки были вот такие, – показала она пухлыми ладонями чудо-плод. – Сочные, ядреные, как девки на выданье, – ущипнула она дочь за мясистый бок и залилась смехом-гоготом.

– Агаша, держи, – огрызок яблочка, протянутый Зоей-младшей, был безжалостно размолот крупными Агашиными зубами.

– Даже косточки не выплевывает, – порадовалась Зоя-младшая. Аксинья поежилась от ее ласковой улыбки.

Ульяна, как щучка речной водицей, наслаждалась посиделками. Веселая, острая на язык, она шутила с парнями, пела задорные частушки, знала много протяжных, душевных песен и с удовольствием затягивала сейчас одну из них.

– То не сокол по небу летит,
То не сокол роняет сизы перушки,
То милый скачет по дорожке,
За счастьем на чужой сторонушке.
Застилают слезушки глаза,
Расплывается путь-дороженька,
Не прощался миленький со мной,
Пожалейте вы меня, подруженьки.
От кручины сохнуть я начну,
Уж любила сокола я милого,
А отец родименький отдаст
За нелюбого, за постылого[27].

Столько тоски, столько чувства было в звонком Ульянином голосе, что все затаили дыхание и сидели тихо, пока последний звук песни не растаял в душном воздухе избы.

– Ай да соловушка. Вот голос-то сладкий. Мужу будет радость! – наперебой посыпались похвалы. Чуть зардевшаяся Ульяна принимала их с видимым удовольствием.

Хлопнула входная дверь, Марфуша засуетилась:

– Кто еще к нам пожаловал?

На пороге стоял кузнец и настороженно оглядывал веселую компанию. В ладно сидящей красной рубахе, подпоясанной широким поясом, в новых портах и сафьяновых сапогах, он выглядел щеголем.

[27] Авторское переложение народных песен.

– Красавец какой, Гришенька, наконец-то к нам пожаловал. Сколько звали тебя в гости! Пожалуй к столу. Выпей пива. Чарку дозволяется, – ворковала Марфа.

– Благодарствую, хозяюшка.

Разговор завертелся, потихоньку Григорий влился в веселую беседу, стал рассказывать байки о других деревнях, городах, где он бывал. Аксинья старалась не слушать, но…

– Есть городок такой на границе Дикого поля и нашего государства, Валуйки зовется. Острог с четырьмя башнями, высоченные, сам видел. А живут там куда беспокойнее, чем в Соли Камской. Ваши инородцы мирные, волю забыли. А татары покоя не дают. За тот год, что жил я там, три раза к стенам города подходили.

– А ты что ж там делал, в Диком поле? – спросил Игнат.

– Много где судьба носила, – расплывчато ответил кузнец.

– С татарами-то бились?

– Один раз откупились. Другой раз они не выдержали, сняли осаду. Там ход к реке из крепости идет тайный, потому от жажды не померли.

– А третий? – Ульяна, подсевшая к столу, аж вперед подалась.

– Бились. И казаки, и посадские, и крестьяне окрестные. Они быстро побежали. Крымчаки любят, чтоб сражение короткое было, а добыча богатая… – он замолчал.

– Это ты не знамши… – вышел Семен, сплюнул на застеленный соломой пол. – Отцы сказывают, лет пятнадцать назад на Соль Камскую инородцы войско привели, людей побили, посад пожгли… И сами получили изрядно. И мы не лыком шиты, – с каким-то вызовом глянул на кузнеца.

– Вам виднее.

Все смотрели на Григория, но отвечать на вызов задиристого бортника он не стал, налил чашку пива и залпом осушил ее до дна.

– Ульяна, – спохватился Игнат, – спой песню.

– Ой береза ты моя,
Ой, моя березушка,
Он не смотрит на меня,
Речкой льются слезушки.
Ой, березка помоги,
Ты моя красавица,
Он со мной не говорит,
Мое сердце плавится.
Я, березка, наберусь
Смелости недевичьей,
Милому сейчас шепну:
«У березки вечером».
Ох, береза ты моя,
Ой, моя березушка,
Видишь, милый не пришел,
Речкой льются слезушки.

Щеки Рыжика горели лихорадочным огнем. Каждую минутку помнила она: Григорий в избе, слышит ее. Каждое слово сладкой песни может стать той ниточкой, которой привяжет она кузнеца к себе.

«Будто про нее, Ульяну, песня писана, про то, как томится она», – с непонятной грустью Аксинья смотрела на певицу, переводила взор на кузнеца: понял ли, что ему поет Рыжик, что от тоски по нему звенит ее голос. В черных глазах ничего было невозможно прочитать, они были

глубже колодца, темнее омута. Почудилось Аксинье, будто кузнец заметил ее любопытство. Она отвела взгляд.

Ульяна пела, и глаза ее сверкали лихорадочным огнем. Даже рыжая коса сияла пламенем. Иль то был отблеск лучины? Неотрывно смотрела она на Григория. Все было ясно без слов. Присев за стол к Григорию, девушка завела тихий разговор. Несколько девок перемигнулись – скоро будет еще одна свадьба на деревне. Добьется настырная рыжуха своего.

Аксинья болтала с Анфисой и Зоей о ворожбе, о будущем, пыталась втянуть в разговор угрюмую Агашу.

– А я замуж не пойду, – внезапно пробормотала та и уставилась в пол. – Я с Зоей жить буду.

Девки морщили лоб и пытались понять угрюмку. Аксинья машинально водила по губам кончиком косы, прикрыв глаза. Вдруг ухо ее обдул теплый июльский ветер. Мурашки побежали по всему телу, щекоча руки. Они кусали покрывшиеся испариной спину и грудь, сползали к животу. «Опять он! Да что ж делает, окаянный? Спасу нет». Она резко отпрянула, вжавшись в мягкую Зою.

– Сем… – и осеклась. Прямо перед ее негодующим лицом смеялись глаза кузнеца. Она почувствовала на своем лице его дыхание, несущее хмельной запах пива.

– Аксинья, – в устах его имя ее прозвучало напевно, томно. Будто принадлежало оно манкой молодухе, а не юной робкой девушке. – Аксинья, почему ты с нами не сидишь за столом, не поддерживаешь подружку свою? А на лавке мышкуешь?

– Да мне и тут хорошо, – оправилась она от замешательства.

– Как здоровье батюшки? Матушка как поживает?

Он задавал ничего не значащие вопросы. Она давала ничего не значащие ответы. Кузнец отошел, а девушка прижала холодные руки к горящим румянцем щекам. «Не заметил бы кто!» – думала она, пытаясь унять биение сердца.

Зоя по своему обыкновению принялась насмешничать над Агашей, Анфиса ее защищала, а Аксинья погрузилась в молчание. Она гнала, как надоедливых пауков, мысли о только что случившемся разговоре. Но они жужжали в ее голове.

– В сени выйдем, пошепчемся, – Семен прошел мимо, задел подол сарафана своим сапогом. Внезапно что-то накрыло ее, как туманом.

Она сорвала с крючка душегрею. Запуталась в ворохе одежек. Увидела, что взяла чужую кофту. Бросила ее на сундук. Выскочила, хлопнув дверью. Семен закутался в зипун, большой, с отцовского плеча, натянул шапку до бровей.

– Зачем зовешь? Все у нас переговорено на десять рядов, – тело девушки бросило в жар. И не помогали стылые сени. Ярость сделала голос громким и язвительным.

– Аксинья. Зачем ты так? Знаешь… Ты мне как глоток воды родниковой… Как забор высокий отец твой возвел, так не поглядеть на тебя…

– Речи красивые поешь. Да и только! Сам знаешь, просватана я.

– Аксинья. Пойду я к отцу твоему. Буду просить. В ноги упаду!

– Не ходи. Так знаю: откажет он тебе, не смилостивится, не поменяет решения. Что попусту воду мутить… И хватит о том.

– Нет. – Семен наклонился и прижался губами к девичьему лбу. Шапка съезжала на глаза. Он ее поправлял, не додумавшись снять. – Придумать надо…

– Что придумаешь ты? А может, уводом? Сграбастаешь в охапку. Повенчаемся! А?

Семен прислонился к стене, ссутулился, поскреб наметившуюся бороденку.

– А жить-то как будем? Отец меня выгонит…

– Не отец, а мать твоя, тетка Маланья, нас на улицу выставит. Она меня страсть как не любит.

– Аксинья… Знаешь, что люба…

– Любовь твоя как худое лукошко – каждый день зерно просыпается понемножку.

– Так, значит… – Веснушки стали ярче на побледневшем лице Семена. – Аксинья, скажи. Если бы не жених, не отец… ты… ты бы пошла за меня?

– Какая уж разница, – сказала о том, что хотела скрыть. – Пошла бы. С большей радостью, чем за толстопузого Никиту.

Семен снял с головы шапку и выскочил на крыльцо.

Аксинью будто через молотилку пропустили. Она вернулась в избу и нашла свою душегрею, поминая злого домового.

– Марфа, кликни Ульянку.

Хозяйка с любопытством оглядела Оксюшу и, ничего не сказав, направилась к столу. Игнат, пьяный и счастливый, обнял Марфу за полную талию и увел в сторону. Аксинья беспомощно топталась на пороге.

– Ульяна, пойдем домой. Рыыыжииииик, – кричала она, но голос тонул в визге, смехе и выкриках парней.

– А не рано ли вы домой? – спросил Григорий, бесшумно подошедший к Аксинье.

– Завтра засветло в город поедем с братом и отцом, надо пораньше возвернуться.

– И красавица, и умница, и родители основательные… Вот невеста-то видная, – протянул парень. Насмешка слышалась в его низком, уверенном голосе. Ответа он так и не дождался от засмущавшейся Оксюши.

– Григорий, всего тебе доброго, – сверкнула бесстыжей улыбкой подбежавшая Ульяна.

– Проводить вас?

– Не надо, – ответила Аксинья, не обращая внимания на возмущенное шипение подруги. Всю дорогу домой Ульяна болтала о неожиданном появлении кузнеца, повторяла каждое его слово, строила планы, смеялась.

– Видела, как он глядел на меня! Глазищи черные, бесовским огнем горят! Будто сожрать меня хотит. А у меня поджилки трясутся, в груди трепещет, пламень по телу разливается, особенно там… – Ульяна сделала паузу.

– Где? – рассеянно спросила подруга.

– Да что ж ты… В месте срамном… Мне Василиса рассказывала…

Аксинья потеряла нить рассказа, погрузившись в свои бездонные думы.

Ульянка не обращала внимания на рассеянность подруги, которая в ответ на все откровения издавала лишь неопределенное хмыканье. Рыжику и так было нескучно идти по ночной деревушке, вдыхать весенний воздух и ощущать, что впереди так много всего радостного, интересного, что все мечты скоро станут былью.

– Игнат-то! Видела?

– Что Игнат?

– Марфу за бока мял. Зойкина мать сказывала, что его петушок на ее насесте заночует. Потом женится…

– Нет, Ульяна. К Марфе сватов не засылают. Будто не слышала сплетен.

Рыжик умолкла.

В избе было тихо. Федя уже посапывал на печке. Василий спал на лавке, заботливо накрытый теплым шерстяным одеялом. Одна Анна дожидалась девчушек. Вопреки привычке в руках ее не было ни веретена, ни ниток с иголкой. Огонь из печурки бросал отблеск на ее задумчивое лицо со следами былой красоты. Тяжелый ежедневный труд по капле вытягивал силы из некогда красивой стройной женщины. Остались лишь густые косы да красивые глаза, порой завораживающие своим молодым блеском. Восемь детей, появившиеся на свет в семье Вороновых, по каплям забирали красоту и молодость Анны. Из восьмерых детей выжили пятеро. И неизвестно, кто отнял больше сил у Анны – те дети, что выжили, или те, что ушли на небеса малыми.

Каждый вечер у иконы Богоматери она ставила свечи и долго молилась. О детях, так и не ставших взрослыми. О сыновьях, от которых так давно не было вестей. О Василисе, самой удачливой, но ставшей совсем чужой родителям. О старшей Анне, которую видела так редко. О Федоре, будущее которого было скрыто во мраке болезни. Об Аксинье, самой младшей, самой любимой дочери.

С самой юности их отношения с Василием складывались по божьему и людскому закону: он решает, она подчиняется. Редко Анна спорила с мужем. Теперь пришла пора.

Весь день в мастерской между мужем и женой шел разговор.

– Девчонка она еще, посмотри, какая тоненькая, как березка. Куда ей еще хозяйство вести, детей рожать? Давай чуток обождем, хоть годика два еще. А, Вася…

– Рано… Поздно бы не было! Девка в самом соку. А что тоненькая – это порода такая! Ты у меня тоже пышкой не была, – не удержался и шлепнул жену по мягкому месту, – но детей рожала исправной сейчас хоть куда.

– Ты мне зубы не заговаривай. Время другое было. Подождет Микитка год-два. Ничего с ним не случится.

– Ерофеев ждать не будет. Он в таких кругах в Соли Камской крутится. Ого-го-го! Я в сравнении с ним вошь мелкая. Через него мне всегда почет и уважение будут в любом месте. А если передумает Ерофеев? И останемся с носом! Нет, Анна, бабский ум в таких делах не разумеет.

– Осенью свадьбу играть будем, Вася?

– Как в православном мире заведено. На Рождество Богородицы[28] сговоримся с Акимом. Ты с Аксинькой разговаривай, Анна, вбей в ее голову понятие о правильной жизни. Недосмотрела ты, мать… – Василий резко встал. Он гнал от себя мысли о собственной несправедливости. Не кто иной, как он, вел с дочерью долгие беседы, к нему Аксинья тянулась, его слова были для дочки законом. И, стало быть, перекос в ее воспитании был виной отца, не объяснившего, не уследившего, не показавшего верную дорожку.

– Добрый выбор. Богоматерь поможет, брак укрепит, детей дарует. – Анна, вздохнув, принялась за стряпню. Руки проворно замешивали тесто, резали репу, а голова занята была смурными мыслями.

И правда, ее бы воля – никуда бы она девчушку младшую свою не пускала. Веселая, добродушная, бойкая, Аксинья в отчем доме была как свет в оконце.

Они с Рыжиком устраивали игры, пели дурашливыми голосами, кричали частушки, не давая домочадцам заскучать и задуматься о надвигающейся старости. «Пустое это все, – спорила она со своей материнской любовью, – нужна Аксинье защита. Мы с Васей не молодеем, чем раньше свадьбу сыграем, тем спокойнее».

Вспомнился недавний разговор с соседкой Маланьей.

– Надо побыстрее вам ее замуж выдавать, а то блюсти не сможете. Мой сын все глаза провертел, глядючи, как она белье в речке полощет. До греха наших парней доведете. Бесовское в ней что-то есть, Анна. Ишь, глазищи какие, срам! Сама худосочная, смотреть не на что… А Семка чтой-то нашел…

– Не для Семки твоего моя лебедушка. С Соли Камской суженый ее. А ты будешь сплетни всякие распускать, мало не покажется!

– Накажет бог за гордыню! Головешки свои задираете. Все под Богом ходим, – отскочила от забора соседка.

Безделица, конечно. Но неприятный разговор получился. Маланья баба препоганейшая, но как начнет слухи какие распускать, от них не отмоешься.

---

[28] *Рождество Богородицы* – 21 сентября.

Аксинья, как и мать, ворочалась всю ночь и, засыпая ненадолго, каждый раз видела одни и те же темные глаза, пристально смотрящие на нее, будто прямо в душу. Завистливо смотрела на безмятежно сопящую подругу, выпроставшую ноги-руки из-под теплого одеяла.

Спозаранку Василий, Федор и Аксинья, спешно собравшись, увязав тюки с посудой на телегу, отправились в Соль Камскую. Рыжик ехать отказалась:

– Трястись на телеге… Все кишки перемешаются!

Не отъехали Вороновы и версты от деревни, как нагнал их всадник на вороном коне.

«С чего бы это? – думала Аксинья. Взгляд ее не отрывался от кузнеца, который ехал вровень с правившим телегой Василием. Парень сидел на коне чудно, поджав ноги, с расслабленной повадкой. – Совпадение. Не хотелось в скукоте ехать, с нами заодно и собрался в город».

Василий и кузнец обсуждали погоду, начало длинного для крестьянина времени посева, растягивающегося в их суровом крае на квитень и травень[29], про ремесленные тяготы, про царя и местную власть. Аксинья в разговор мужской не вмешивалась, но чувствовала присутствие кузнеца каждой жилкой своей. Федор зарылся в солому. То ли спал, то ли думал о чем неведомом.

В Соли Камской пути односельчан разошлись, но сговорились они вечером встретиться, чтобы путь обратный держать вместе. Вороновы направились к Акиму Ерофееву. Василий вез ему товар гончарный, и о сватовстве надо было им потолковать. Аксинья наряд выбирала с умыслом: новые сапожки сафьяновые, шапочка мягкой, хорошо выделанной кожи, синяя душегрея с васильковым сарафаном делали девушку взрослее и милее прежнего. Не замаршкой же представать перед будущими родичами.

В городском доме Ерофеевых убранство поражало пышностью. Заморская посуда, икона с серебряным окладом, сундуки резные сразу привлекали внимание гостя. Аксинью провели в женскую светлицу, где все лавки и сундуки были устланы искусно вышитыми поделками жены да дочерей Акима. Микитка был сызмальства окружен женским царством, потому балован и откормлен без меры.

[29] *Квитень* – май; *травень* – июнь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.